

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



# Селафиила - прот. Александр Торик

*Торик Александр, протоиерей*

На маленькой площадке перед входом в храм Преображения Господня, защищенной от сильных ветров с северной и с западной сторон невысокой стеной, около самой двери храма, в рассеивающемся предзвездном сумраке виднелись две женские фигуры. Одна из них, высокая, статная с величественно-смиренной осанкой была покрыта с головы до ног мягким струящимся покрывалом вишнево-коричневого оттенка.

## ПРОЛОГ

На маленькой площадке перед входом в храм Преображения Господня, защищенной от сильных ветров с северной и с западной сторон невысокой стеной, около самой двери храма, в рассеивающемся предзвездном сумраке виднелись две женские фигуры.

Одна из них, высокая, статная с величественно-смиренной осанкой была покрыта с головы до ног мягким струящимся покрывалом вишнево-коричневого оттенка. Другая, маленькая, согбенная, опирающаяся на гладко обструганную палочку, была укутана вышитой белыми нитками схимой с высоким капюшоном кукуля.

— Скоро отец Христофор подойдет, он уже поднимается сюда от Панагии. Подожди его здесь, в храме. Скажи ему, что Я благословила тебя посещать Мой Удел и общаться с Отцами, когда тебе это потребуется, — ласковым глубоким голосом сказала Высокая Женщина. — Сейчас Я прощаюсь с тобой, Меня ждут в келье Иоанна Богослова, там нужна Моя помощь.

— Благодарю Тебя, Матушка! — совершила земной поклон согбенная схимница. — Благослови недостойную рабу Твою!

— Благодать Сына Моего и Моя да пребудет с тобою!

Спустя некоторое время, дощатая дверь в храм Преображения скрипнула, высокий грузный старый монах, тяжело дыша, вошёл внутрь маленького храма. В глубине ближайшей к алтарю по правой стене деревянной стасидии он увидел склонившийся почти над самым сиденьем схимнический кукуль.

— Здравствуй, мать Селафиила!

— Евлогите (благословите), отче Христофоре!

— О, Кириос! (Бог благословит)

Внизу, узким пальцем, протянутым с севера на юго-восток, простирался заросший густым зелёным лесом Афон.

## ГЛАВА 1

Мать Селафиила открыла глаза и, подслеповато прищурившись, огляделась. Тускловато-

расплывчато, словно сквозь давно не мытое оконное стекло, она осмотрела привычные очертания скитской домово́й церкви настоятеля, отца Анфима, находящейся на втором этаже игуменского дома, в угловой келейке которого она проживала уже четвёртый год.

В этой маленькой церковке, больше напоминавшей моленную, она проводила большую часть своего времени, не занятого молитвой за скитскими богослужениями, общением с приезжавшими к ней людьми и совсем коротким отдыхом.

Матери Селафииле шёл уже сто второй год от рождения.

Она привычно отметила высоту мерцания огонька свечи над силуэтом подсвечника: огонёк был ещё высоко, значит, до начала полунощницы в соборном храме скита оставалось не менее полутора часов.

Мать Селафиила снова закрыла отяжелевшие морщинистые веки. Губы её слабо шевелились, шепча молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную!»

Неожиданно перед глазами старой монахини всплыла с кинематографической ясностью картина её далёкого детства.

Она, хрупкая четырёхлетняя девочка Машенька, сидит на руках у отца, свесив свои бессильные, от рождения парализованные ножки в нетоптанных лапоточках, и обнимает его сильную, загорелую шею, не сгибающуюся под тяжким ярмом крестьянских трудов, забот и переживаний.

Отец несёт её по узкой тропочке, вьющейся между спелых пшеничных полей, бережно прижимая к себе худенькое болезненное тельце девочки и тихонько нашёптывая ей на ушко что-то ласковое, нежно-утешительное. Машеньке хорошо на сильных отцовских руках, безопасно, покойно.

Тропинка, вильнув, обогнула редкую берёзовую рощицу, и перед широко открытыми, изумлёнными глазами девочки распахнулся необъятный простор залитого солнцем цветочного луга, посреди которого засверкали белизной башни и стены какого-то невиданного сказочного города с сияющими золотом куполами церковей и высокой стройной свечой колокольни.

— Таточка, таточка! — залепетал ребёнок. — Таточка, какой красивый город! Таточка, этой Рай?

— Это дом Боженкиной Матушки, радость моя! Это монастырь в честь её иконочки Казанской, здесь твоя тётушка живёт, крёстная, монахиня Елифания!

— Таточка, таточка! Здесь так красиво! Я тоже хочу здесь жить, у Матушки Боженкиной, я тоже хочу быть монахиней, им здесь так хорошо, наверное, с Боженкиной Матушкой!

— Господь знает, деточка моя! — поцеловал её в щёчку отец шершавыми обветренными губами. — Может, и будешь когда-нибудь монахиней, может, и поживёшь в доме Матушки Царицы Небесной...

— Я очень, очень этого хочу, таточка!

Словно сдернулся кадр, проскочив вперёд, и перед взором схимонахини Селафиилы предстал изнутри храм, светлый, огромный, наполненный ароматом воска, ладана, цветов и ещё каким-то очень нежным и тонким благоуханием.

Множество народа заполняло всё пространство храма, где-то впереди зычно возглашал ектению архиерей, с балкона на западной стене доносились ангельские голоса женского монашеского хора. Большая сдобная монахиня Епифания, Машенькина тётушка, бережно посадила девочку на низкую деревянную скамеечку рядом с тумбой для сбора пожертвований, прямо напротив чудотворного образа Богородицы — местной святыни монастыря.

— Молись, лапочка моя, Божьей Матушке! Проси её исцелить твои больные ножки! — погладила монахиня мягкой теплой ладошкой по белокурой головке хрупкую племянницу.

Машенька внимательно вгляделась в сверкающий начищенной ризой чудотворный образ; лик Богородицы, выглядывающий из осыпанного драгоценными камушками оклада, светился добротой и тихой, едва заметной грустью. Рядом с Ней, очевидно, у Неё на коленях, стоял серьёзный красивый Мальчик тоже в драгоценных одеждах и с сияющим нимбом вокруг головы, взгляд Которого, как казалось, был устремлён прямо на девочку.

Машенька немного смутилась и прикрыла глаза.

— Девочка! Ты, наверное, что-то хочешь попросить у Моей Мамы? — вдруг услышала Машенька прямо над ухом тихий детский голос. Она открыла глаза и повернула голову в сторону говорившего.

Перед ней стоял Тот самый красивый серьёзный Мальчик в драгоценной одежде.

— Ты не бойся, проси! Она очень добрая и исполнит всё, о чём ты Её попросишь!

— Можно, я попрошу Её, чтобы мне стать монахиней и жить в этом святом монастыре? — робко спросила Его Машенька.

— Можно! Только ты должна сама подойти к Ней и попросить Её об этом!

— Но я же не умею сама ходить! У меня ножки не двигаются!

— Я помогу тебе! Ты возьми Меня за руку и вставай с табуретки, — Он протянул ей Свою светлую детскую ладошку, посреди которой виднелась подсохшая кровавая ранка, — держись за Меня и потихонечку иди! Со Мной ты обязательно дойдёшь!

Машенька осторожно взялась за протянутую ладошку, оперлась на неё, и потихоньку приподнялась со своего сиденья. Её ножки подрагивали, но держали на себе малый вес её болезненного тонкого тельца.

Она осторожно сделала слабый шаг, затем другой.

Тёплая крепкая ладонь Красивого Мальчика уверенно поддерживала её.

Осмелев, она сделала ещё несколько робких осторожных шагов и почувствовала, что её ножки словно наливаются какой-то упругой, пульсирующей силой.

Она посмотрела на лицо Красивого Мальчика, Тот улыбался.

— Попробуй теперь сама, — отнимая Свою ладошку, сказал Он девочке, — у тебя получится, старайся!

Я всё время буду рядом с тобой, ты всегда сможешь опереться на Меня и Я не дам тебе упасть!

Взгляд Его источал доброту и уверенность, Машенька поверила Ему и, теперь уже сама, без опоры, начала приближаться к сверкающему образу Богоматери, ещё увереннее переставляя всё более крепнущие ножки.

Она шла, не замечая, как расступаются перед ней молящиеся, ахая и крестясь, как волнами прокатывается по храму изумлённый шёпот:

— Чудо! Чудо! Параличная исцелела!

Как внезапно оборвался голос архидиакона, возглашавшего ектению, как из алтаря вышли все священники и в безмолвии глядели вместе со сбежавшими с клироса монахинями на идущее к иконе дитя.

Она видела перед собой только сияющий неземной любовью лик Пресвятой Девы и шептала тонкими детскими губами:

— Матушка Боженькина! Помоги мне! Сделай меня монашечкой, я хочу стать как тётушка крёстная. Я хочу жить в твоём красивом монастыре! Я хочу всегда видеть Тебя и быть с Тобой!

Девочка подошла вплотную к иконе, взялась ручками за тонкий бронзовый поручень, подтянулась вверх и поцеловала нижний край драгоценной ризы чудотворного образа, прямо в локоток Пречистой Девы. Серебрянный локоток был тёплым и благоухал.

Машенька подняла взор к лику Богоматери и встретила с Ней взглядом. Взгляд Божьей Матушки светился лаской и нежностью. Машенька поняла каким-то неведомым ей чувством, что она услышана и что просьба её будет исполнена.

Внезапно почувствовав утомление, девочка опустилась вниз, присела на деревянную приступочку под иконой и только тут заметила, что на неё в благоговейном молчании взирает весь присутствующий в церкви православный люд.

— Мальчик! — встrepенулась вдруг она. — Где Тот Красивый Мальчик?

И вновь обратив свой взгляд к иконе, увидела Его, красивого и серьёзного, стоящего на коленях у Своей Мамы и простирающего к людям распахнутые детские ладошки с подсыхающими кровавыми ранками.

## ГЛАВА 2

Мать Селафиила улыбнулась воспоминанию. Как давно это было! И словно вчера! Словно не было этих бесчисленных, необъятных по пережитому лет, словно прошлое и настоящее, а возможно, и будущее уже существовали тогда и существуют сейчас, и будут существовать всегда в каком-то незримом, но ясно ощущаемом своим присутствием в чуткой душе схимонахини тонком пространстве.

Ноги привычно болели, словно тупые квадратные гвозди, которыми в «царское» время сколачивали стропила, застряли в коленях и тягуче, ноюще поворачивались в суставах. Схимонахиня постучала по ним своей лёгкой, гладко обструганной палочкой — хватит, хватит! Не мешайте молиться! Боль не ушла совсем, но притихла, затаилась...

— Господи! Иисусе Христе! Помилуй мя! Господи! Иисусе Христе! Помилуй мя, — губы схимницы беззвучно шевелились, слабенькое старенькое тельце привычно согревалось расходящейся от сердца теплотой молитвы.

Как хорошо с Господом!

Тот Красивый Мальчик Иисус исполняет своё обещанье не оставлять Машеньку в нуждах и скорбях всю её долгую, очень долгую, очень трудную жизнь.

Снова вспыхнуло детство, и она, лёгкая, тринадцатилетняя, крепенькая и загорелая девчонка в застиранном ситцевом платице, ловко сгребает большими деревянными граблями благоухающее невообразимыми ароматами свежее сено на монастырском лугу. Вокруг неё такие же загорелые, весёлые, в таких же застиранных ситцевых подрясниках монахини, сверкающие безмятежно радостными улыбками из овалов летних лёгких белых апостольников.

Мелькают грабли, страшные трёхрогие вилы, взлетают в небо пышные копушки благоуханного сена, растут гигантские стога.

В стороне, на опушке берёзовой рощицы, несколько престарелых сестёр под руководством крёстной матери Епифании чистят картошку, перебирают свежепринесённые послушницами крупные белые грибы, варят в больших закопчённых котлах на треногах обед под тихое умильное пение акафиста Богородице Казанской.

Лето, солнце, молитва, счастье!

— Маша, Маша! Беги до обители в келарню, скажи матери Пафнутии, пусть даст тебе полфунта соли, опять туюсок с солью в телегу не положили!

— Бегу, крёстная! — Машенька летит над тропинкой, сверкая загорелыми круглыми пятками, ветер раздувает концы её старенького платочка и густящую косу за спиной, сердечко колотится от быстрого бега, от радости исполнения монастырского послушания, от ощущения разлитой вокруг благодати Божьей и невидимого, но осязаемого присутствия рядом любящей Божьей Матушки.

Родную Машенькину маму похоронили полтора года назад.

Отец не мог себе позволить долго горевать, шесть детей, родившихся после Машеньки, к счастью, здоровыми, требовали крепкой женской руки, и через три месяца после скромных похорон, в доме появилась сухая высокая молчаливая Агафья, скупая на ласку, но семижильная на работу.

Дети редко слышали от неё похвалу или утешение, но всегда были чистыми, сыто накормленными простой крестьянской едой, одежда на них была выстирана, заштопана, носы вытерты, постельки были сухими и тёплыми, утренние и вечерние молитовки дети читали всегда вместе, по очереди, выученными на память, причащались в приходской церкви часто и регулярно.

— Ишь, какую начётчицу Никита взял! — уважительно кивали соседи.

Однако не только сама Агафья рвала жилы на домашней работе. Дети все, не исключая малышей, трудились на домашнем хозяйстве соответственно возрасту и силёнкам.

А труда было много: в доме, на огороде, с птицей, скотиной, готовкой, стиркой, покосом, шитьём незамысловатой, но крепкой крестьянской одежды. Да и не перечить всех трудов, которые приходилось нести руководимому твёрдой Агафьиной рукой, многочисленному Машенькиному семейству.

— Оладушки на подушке в Раюшке кушать будешь, — говаривала нередко мачеха, — а здесь «роботать» надо! — делая ударение на «тать».

Маше, как старшей, доставалась и большая часть работы. В свои тринадцать она умела готовить, шить, стирать, ткать холсты, плести «дорожки», заготавливать грибы, капусту, мочить яблоки, доить корову и коз, сбивать масло и многое, многое другое, чего и представить себе не могут её сверстницы в наше время.

Маше приходилось сильно-сильно стараться, чтобы хоть иногда услышать скупое Агафьино: «Честно (с ударением на О), Маня, сделала, честно»...

Впрочем, бывали у Машеньки и особые утешения, кроме, понятно, святых церковных праздников, когда всё семейство во главе с отцом, солидным в своей «воскресной» вышитой рубахе и начищенных до блеска сапогах, стояло в церкви, молилось и причащалось. А затем после праздничного обеда, впрочем, не сильно отличавшегося от обычной их скромной трапезы, за чаем вместе слушали Агафьино чтение житий святых угодников из старой «Четы Миней», отдыхая от трудов праведных.

Но Машеньке, порой, давались «отпуски»: когда денька на три, а порой, и на целую неделю.

К тётушке крёстной, в святую обитель!

Вот уж тут наступал для девочки «праздников праздник и торжество торжество». Вряд ли с такой же силою тянет птиц весною из далёких стран на родину или форель в верховья рек на нерест, как рвалась душа юной христианки под сень куполов Дома Матушки Божьей, любовь к Которой не угасала ни на миг в её сердечке с самого младенчества.

И к Сыну Её — Красивому Мальчику, явившемуся ей тогда и исцелившему её параличные бессильные ножки.

Теперь она хорошо знала Имя Его — Господь наш Иисус Христос — Спаситель мира. Знала и откуда эти ранки на его ладонях, яркие, словно из не хотящей свёртываться алой свежей крови. Знала, и кто нанёс Ему эти незаживающие раны, и продолжает растревлять их донныне — она сама и «прочие, подобные ей грешники», своими грехами не дающие заживиться пронзённым на Кресте пречистым дланям Сына Божьего.

Именно здесь, в монастыре, девочка чувствовала себя по-настоящему Дома, словно рыбка в свежей чистой воде. И это притом, что трудиться на монастырских послушаниях ей приходилось подчас больше, чем дома, тем более что мать Епифания, назначенная к тому времени благочинной, ни в чём не позволяла себе потакать племяннице против других сестёр. Никто не смог бы укорить «большую маму», как за глаза называли Епифанию сестры, в потворстве каким-либо фавориткам, даже и горячо любимой крестнице. Трудиться Маше приходилось по-взрослому.

Но никакие труды и трудности не могли угасить пыла ревности «трудницы Марии», как называли Машеньку сестры-монахини. Она горела желанием служить, желанием угодить своей небесной Покровительнице и порадовать Её, желанием отблагодарить Её Божественного Сына за Его любовь, за своё чудесное исцеление, за Его страшную Крестную Жертву, в память о которой до сих пор алели раны на Его ладонях.

Частенько, улучив свободную от послушаний минутку, девочка проскальзывала в дубовое громадье резных дверей величественного главного монастырского собора, птичкой впархивала в центральный придел, опускала коленочки на истёртый множеством других коленей ветхий

коврик и горячо молилась:

— Матушка Божия! Благодарю Тебя за всё-всё-всё, что ты мне, грешнице, помогаешь! Матушка Божия! Помоги таточке моему, чтобы у него конёк выздоровел! Помоги маме Агафье, чтобы у неё ручки не болели! Помоги братику Тимочке, чтобы у него буквы писать получалось! Помоги сестрёнке Анечке, чтобы она меньше заикалась! Матушка Божия! Сделай, чтобы сосед Кирюша не стал пить вино и жену свою Любушку больше не бил! Матушка Божия! Помоги, чтобы у нас на огороде картошечка опять хорошо уродилась! Матушка Божия! Сделай так, чтобы всем было хорошо, а я стала монашечкой! Матушка Божия! Помоги мне, чтобы я научилась так любить Боженьку Иисуса, как батюшка на проповеди говорил! Матушка Божия! Я так хочу всегда быть с Тобой и с Боженькой Иисусом!

И лилась, лилась горячая детская молитва от чистого любящего сердечка, возносилась светлым лучиком к чудотворному образу Царицы Небесной, исполненная несомненной веры в любовь и помощь Владычицы, Матушки Божьей...

Ещё любила Машенька клиросное послушание, когда в будние дни (в праздничном-то хоре — ого-го какие певчие были!) ставили её с сёстрами петь на клиросе. Голосок у Машеньки был высокий, звонкий — чисто колокольчик! Даже грозная мать Геронтия (мать Драконтія, как называли её меж собою певчие сестры), управляющая железной рукой будничными хорами, питала к Машеньке тёплое чувство, и порой, гневно сверкая глазами из под сдвинутых бровей на сфальшививших в Херувимской альтов, незаметно из под рукава широкой рясы совала в ручку маленькой «певчей» завернутый в цветную бумажку леденец.

Там, на крылосе, вливаясь своим чистым голоском в общее умирительное звучание хора, словно сплавляясь с другими певчими в одно большое поющее сердце, изнасящее из себя в чуткое Небо песнь покаяния, надежды и радости, Машенька ощущала свою причастность к тому неземному Ангельскому служению, которое нельзя описать, нельзя понять, можно только слегка предвосхитить и восхититься этому неопишуемому блаженству бытия в Боге.

Крепкие, упругие её пальчики умели быстро сплести шерстяные монашеские чётки, уверенно и туго стягивая крестообразно каждый узелок и словно вплетая в него старательно произносимую при этом молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».

Помогала Машенька и звонарям: старой, но крепкой, почти совсем оглохшей матери Синклитикии и молчаливой, мужеподобной телесно, но кроткой и робкой духом инокине Гермогене. Врождённым музыкальным чутьем мгновенно схватывая мелодику и ритм каждого звона, Машенька заставляла весело «выпевать» свою партию доверенные ей маленькие «звонцы». Каждый раз, спускаясь по мощным деревянным ступеням колокольни, мать Синклитикия улыбалась морщинистым ртом поддерживающей её под локоток девочке: «Быть тебе звонарём, девка! Экий в тебе к колоколам талант!»

Правда, в своих мечтах о монастыре Машенька отнюдь не помышляла парить над обителью вместе с разлетающимся в концы вселенной ликующим звоном, заставляя оживать могучие чаши колоколов.

Иное послушание было предметом её восхищения и сокровенного желания.

Стоя на богослужениях, по благословению благочинной у «богородичного» подсвечника близ солей, ловко манипулируя постоянно обновляющимися разнокалиберными свечками, Машенька с замиранием духа поглядывала в боковую «пономарку», где торжественная в своём



погребальном схимническом кукуле, опустив долу светящиеся тихой ласковостью, плохо видящие земной мир голубые глаза, царствовала безмолвствовавшая схимонахиня Гавриила.

Все алтарные принадлежности: могучий семисвечник, кадила, лампы, подсвечники — всегда сияли начищенным серебряным блеском; облачения священников, диаконов и алтарников были чистыми и отглаженными до хруста; ни единой пылинке-паутинке не находилось места во всем пространстве громадного гулкого алтаря. Как мать Гавриила успевала поддерживать подобное совершенство, не мог представить себе никто, тем более что на уход за алтарём оставалось не так уж много времени с учётом ежедневных утренних и вечерних богослужений, во время которых сама схимонахиня, уступив алтарь во власть служащей братии, замирала в углу «пономарки» согбенной молчаливой статуей, и во всё время церковной службы лишь ритмичное передвижение чёточных узелков в её узловатых, сработавшихся пальцах свидетельствовало о наличии жизни под чёрным в белых крестах покровом схимы.

Стать алтарницей!

Входить, как некогда маленькая Дева Мария, во Святая Святых храма Божьего!

О! Это было пределом мечтаний юной «трудницы»! Там, за ажурной золотой стеной иконостаса, жила Великая Тайна, там совершалось Нечто неземное, там хлеб и вино становились Святыми Дарами Божьей Любви — Телом и Кровью Боженки Иисуса!

Той самой Кровью, что так отчётливо видна на Его светлых ладонях, обращённых к людям со святой чудотворной иконы!

Там, в алтаре, вместе с батюшками и диаконами сослужат Святые и Ангелы! И, может быть, именно потому так благоговейно замирает в своём углу мать Гавриила, что своими подслеповатыми, почти не видящими земной мир глазами, она зрит совершающееся там Нечто Великое Небесное?

Снаружи, со стороны малой звонницы, раздались мерные удары колокола. Дежурный пономарь созывал братию к полунощнице. Мать Селафиила, прихрамывая, подошла к подсвечнику, чтобы загасить догорающие свечи и поправить фитиль на негасимой лампаде. Её почти полностью слепые глаза не препятствовали ей в выполнении этой нехитрой работы, она давно уже приспособилась делать её наощупь.

Не торопясь, она скрюченными многолетней работой заскорузлыми пальцами, трудно сгибающимися в деформированных давним артрозом суставах, аккуратно загасила догорающие остатки свечей, оставив гореть один, самый высокий огарок. Затем затушила маленький огонёк лампы в старинном выпуклом стаканчике трёхцветного стекла.

Наощупь добавила в него масла из стоящей внизу пластмассовой леечки, очистила от нагара верхний край фитильной трубочки и кончик нитяного фитиля, оставленным гореть кусочком свечи вновь зажгла в темноте маленькую кругленькую звёздочку «негасимой».

Что-то напомнил ей этот выпуклый «богатый» стаканчик лампы...

Ах, да! Конечно! Именно в таком же подаренном на Святую Пасху любимой крёстной лампадном стаканчике празднично горел огонёк, когда в Светлый Четверг отец, Агафья, мать Епифания и сама семнадцатилетняя Маша решали её — Машину — судьбу.

— Ну что ж, деточка! — отец взволнованно теребил в больших крестьянских руках кисточку плетёного из разноцветных шёлковых нитей «пасхального» пояса. — Раз душа твоя жаждет

монашества, и если есть на то воля Божья...

— Есть, конечно! — не сдержав чувств, перебила его Епифания. — Да она же сызмала наша — монастырская!

Её, Никитушко, все наши матери уже давно как свою сестру принимают! А Нюшенька-то блаженная, человечек Божий, она же при тебе не раз её «Машенькой-монашенькой» называла! А устами Христа ради Юродивых Сам Господь говорит!

— Не стрекочи, сестра! Сам понимаю! — Отец глубоко вздохнул. — Ладно! Так порешим: до осени ты, Маша, при семье, помогай по хозяйству. А к Покрову забирай её, сестра, в свою обитель, пусть будет в нашем роду ещё одна молитвенница за нас, грешников...

— Спаси тебя Бог, таточка! — бросилась обнимать отца Маша.

— Хорошо, брат! — поднялась из-за стола грузная монахиня. — Ладно решил, пусть будет так!

Шёл одна тысяча девятьсот четырнадцатый год.

К Покрову уже всю бушевала Первая Мировая Война.

Звон повторился. Мать Селафиила, привычно ориентируясь в пространстве домового игуменской церкви, подошла к двери, сняла с крючка на стене старенькое драповое пальтишко, накинула поверх апостольника такой же старенький пуховый платок...

В точно таком же стареньком Агафьином платке (сама Агафья в жару металась уже третий день), в заношенном армячке, грубой домотканой юбке и стёртых лапотках стояла Маша на железнодорожной станции, глядя как её любимый «таточка» вместе с другими рекрутами, призванными на войну, обритый наголо, в грубой солдатской шинели и налезавшей на глаза папахе растерянно выглядывает из зарешеченного окна: как же так, разве с таким количеством детей, да в его возрасте, призывают в армию?

Падал редкий крупный снег, небо было беспросветно серым, Машенька сдерживала пытающиеся вырваться из груди рыдания.

— Господи! Иисусе Христе! Сыне Божий! Помилуй нас, грешных! Матушка Божия! Пресвятая Богородице! Верни нам нашего таточку живым!...

Отец вернулся домой через месяц.

Живым.

Военные чиновники всё-таки разобрались с незаконным призывом Машенькиного отца, которого за взятку спровадил на войну сельский староста вместо своего старшего сына.

Старосту посадили в острог. Его старшего сына забрали на войну.

А Никита через месяц после своего возвращения умер от лихорадки, подхваченной им на пересыльном пункте.

### ГЛАВА 3

Предрассветная темнота заполняла храм, только две лампадки, у образов Спасителя и Богоматери, да свеча в руках читавшего полунощницу инока светились золотыми звездочками

в таинственном, как необъятная Вселенная, пространстве храма.

Чтец читал неторопливо, благоговейно, чётко выговаривая слова; немногочисленная братия обители, рассредоточившись по высоким креслам-стасидиям, недавно устроенным наподобие афонских — по всему периметру храма, углубилась в молитвенное делание.

В воздухе веяло тонкое благоухание ладана.

В углу, около печки, опершись на свою высохшую оструганную ореховую палочку и низко пригнув голову, неприметно стояла мать Селафиила. Это было её обычное место с тех пор, как Владыка благословил её на жительство в этот небольшой мужской монастырь.

До этого она около пяти лет прожила в другом, также восстанавливаемом, некогда прославившемся на всю Россию своими подвижниками, монастыре.

В том, знаменитом, окружённом вековыми соснами, ставропигиальном монастыре старая схимонахиня была окружена благоговейным почитанием всей братии во главе с отцом наместником, негаданно для всех возведённым на эту должность Святейшим Патриархом взамен принявшего епископство его предшественника, архимандрита Евгения.

Недельки за две до тех исторических перемен в обители, когда ещё и в канцелярии Патриархии не был решён вопрос о будущих кадровых перестановках, мать Селафиила, как бы случайно, встретила возвращавшихся с обительского пчельника отца Евгения с его будущим преемником, игуменом Захарием, в то время этим самым пчельником руководившим. Павши ниц перед не ожидавшими подобного «демарша» монахами, схимница вдруг возгласила:

— Благослови, Преосвященный Владыко, отцу наместнику посошок подарить!

И, встав с колен, вдруг сунула в руки растерявшемуся отцу Захарии свою оструганную ореховую палочку.

Затем всплеснула руками, будто обознавшись:

— Ох, простите, отцы святые, совсем слепая бабка ополоумела!

И, бормоча, поковыляла к угловой башенке, где в тесной келейке из двух каморок обитала в ту пору с келейницей Дарьей.

Став вскоре наместником обители, отец Захарий не забыл того пророческого предсказания, и, будучи человеком благоговейным и богобоязненным, постарался окружить схимницу возможным вниманием и заботой.

Хотя сама Селафиила перебираться в новую, просторную, с отдельным туалетом и даже душевой кабинкой, келью отказалась.

— Свежо там больно, Захарьюшко! — покачала головой она. — Мне в моей норужке всё как-то прикладистей будет.

И согласилась взять лишь новый электрический чайник:

— Вот, Дашке моей будет пособие, а то вечно копается со своей плиткой, не может старухе вовремя чаю-кофию подать!

Хотя весь монастырь знал, что кроме кипятка без сахара сама Селафиила ни чаю, ни кофе,

ни какого другого горячего напитка в рот не брала.

С той самой поры, когда, похоронив любимого таточку, выпросилась у Агафьи в монастырь на все сороковины, чтобы промолить дорожку таточке сквозь страшные воздушные мытарства в Небесное, Господа нашего Иисуса Христа, Царство...

В ту пору, военную, напряжённую, обители Матушки Божьей приходилось нелегко. Резко сократились пожертвования благодетелей, тяжелее стало с продуктами, товарами, нужными для армии, чувствовалась нехватка соли, сахара, столь любимого русскими людьми чая.

Именно тогда, в душевном порыве, дала Машенька свой первый обет Матушке Божьей:

— Владычице моя, Богородице, Матушка Пречистая! Благослови меня не пить больше сладкого чаю, ни другого чего сладкого в жизни сей! Пусть вместо меня сладко будет таточке моему в Царстве Сына Твоего!

Господи, Иисусе Христе, дай мне силы и помощь Твою, чтобы я смогла всегда выполнять это обещание! А то ведь я — грешница — и сильно чаёк с сахарком вприкуску люблю...

А через пару дней, когда пришла в обитель весть с фронта про двух монахинь на Балканах, закрывшихся в сторожке монастырской и сожжённых турками заживо, но не давших себя обесчестить, из уст девицы Марии, потрясённой этим подвигом победившего целомудрия, излился новый обет:

— Матушка Божия! Не хочу иметь жениха земного! Посвящаю себя и чистоту девства своего Сыну Твоему!

Господи! Приими обет мой и сохрани меня в целомудрии! Научи меня любить Тебя больше всего на земле, возьми девство мое в жертву Твоей любви! Сподоби меня жизни монашеской, чтобы служить Тебе Единому и Матушке Твоей! Предаю себя в волю Твою, Господи! Твори со мной милость Твою!

Пролетели сороковины в горячей за таточку молитве, замолкло в сводах соборных эхо «вечной памяти», возглашённой на панихиде в сороковой день стареющим архидиаконом.

Под пронизывающим предрождественским ветром, пешком в метель, добралась до дому иззябшая Машенька, надеясь, попрощавшись с Агафьей и ненаглядными братиками-сестрёнками, возвратиться уже навсегда под своды монастыря.

В доме было тепло, пахло каким-то новым запахом. Агафья сидела на кровати в углу, ноги её были укутаны двумя старыми одеялами, глаза ввалились и покраснелись от слёз. Младшие дети сгрудились на печи, у которой хлопотал неизвестный Маше тихий сутулый мужчина, лет тридцати, с небольшой русой бородкой.

— Здравствуй, радость моя, надеждонька наша! — ответила, удерживая прорывающийся плач, Агафья в ответ на приветствие Маши. — Посетил нас опять Господь, потерпеть новые скорби даёт! Обезножила я, Маша!

— Как, обезножила? — Еще не придя в себя от свиста метели в ушах, растерялась девушка.

— Отнялись ножки мои, грешные, уж пятый день, как отнялись! Уездный лекарь был, Константин Афанасьич, говорит — паралич это, не встану я больше! — И она разразилась рыданиями.

Тихий мужчина, зачерпнув из ведра воды ковшиком, аккуратно наполнил ею кружку и осторожно вложил кружку в руки плачущей мачехи. Когда он повернулся к Маше другим боком, она увидела, что левый глаз его полностью закрывает бельмо.

Маша, не в силах снять тулупчик с валенками, присела прямо на порожек у двери.

Агафья, выпив воды, понемногу успокоилась.

— Дочка, Машенька, красавица моя, — из уст скупой на слово мачехи, зазвучали непривычно ласковые слова, — ненаглядная! Одна ты наша теперь надежда, пропадём ведь без кормильца! Помилосердствуй о нас!

— Что вы, мамонька, конечно! Я всё-всё сделаю! Господь не оставит нас!

— Уже не оставил, лапочка моя, уже послал нам Ангела своего! Познакомься, это Григорий Матвеевич, он вдовец, столяр хороший, он совсем вина не пьёт и очень богомольный! — тихий мужчина от неловкости склонил голову и теребил бородку, слушая Агафьюину речь. — Он, Машенька, готов о нас всех заботиться!

— Спаси его Христос, мамонька! — с трудом осознавая обвалившиеся на неё новости, ответила девушка, — А кем он станет нам, мамонька?

— Мужем твоим, Маша! Он согласен, дочка, на тебе жениться и всех нас как приданное принять, он святой человек, Маша! Благодарю его!

— Мужем... — начиная вдруг понимать, задохнулась девушка. И рухнула без чувств в горячке.

Горячка длилась более двух недель, несколько раз казалось, что Маша уже не удержится на тоненькой ниточке, отделявшей её светлую душу от Вечности. Лекарь Константин Афанасьевич разводил руками и кивал в сторону икон:

— Это теперь уже — какова Божья воля! Медицина тут бессильна...

Божья воля была Машеньке выжить. Тяжелейшая пневмония не смогла одолеть молодой организм девушки, подкрепляемый в борьбе за жизнь горячими молитвами всего перепуганного семейства. Тихий мужчина Григорий Матвеевич отходил от Машенькиного ложа лишь для того, чтобы вновь напитать ледяной водой мгновенно просыхающие на её пламенеющем челе полотенца, да чтобы наскоро принести из сарая дров, сварить нехитрую похлёбку в чугушке на печи и накормить этой похлёбкой не перестающую плакать и молиться Агафью и робкую стайку её сиротинок.

В середине третьей недели болезнь отпустила. Машенька пришла в себя, оглядела окружающих слабо видящим взором, вздохнула и провалилась в теперь уже здоровый, укрепляющий и освежающий сон.

Жар прошёл, дыхание девушки стало ровным и глубоким.

И привиделось ей сновидение;

«Ясный, тёплый, солнечный, летний день. Стоит Машенька на огромном, необыкновенной красоты цветочном лугу, вроде бы и знакомом, но вроде и неизвестном каком-то. Впереди сверкает дивной белизной стен и башенок, золотом куполов горит чудный монастырь. Опять же — вроде бы и знакомый, но в то же время и неизвестный вроде.

И идут со всех сторон к этому монастырю мимо Маши молодые монахини в дивной белизны подрясниках и апостольниках, а некоторые в таких же ярко-белых клобуках и мантиях. Хочет Машенька вместе с ними пойти в сверкающую обитель, но не может даже с места сдвинуться, словно окаменела вся.

И вдруг видит она идущего к ней от монастыря Красивого Мальчика, юного Отрока Иисуса Христа, в тех же одеждах драгоценных, что на чудотворной иконе обительской. Улыбается Он Маше и подходит совсем близко, только руку протянуть!

— Господи! — обращается к нему Маша. — Почему я не могу идти с сёстрочками в этот чудный монастырь, опоздаю я к праздничной службе, ведь колокола-то уже вон как звонят, скоро Святой Литургии начинаться!

— Не опоздаешь, Мария! — отвечает Отрок. — В своё время поприднуешь, а сейчас тебе на послушание пора идти, Мою заповедь Любви исполнять!

— Господи! — говорит Ему Машенька. — Какая же из меня послушница, когда маменька Агафья меня замуж выдать хочет за Григория Матвеевича, чтобы он кормильцем нашей семьи стал!

— Это и есть твоё послушание — послужить ему и семье твоей, послужить любовью и всеми твоими силами!

— Господи! А как же девство моё, я же его посвятить Тебе обещалась! Как же я могу изменницей моих обетов стать?

— Я твои обеты принял, твоё девство теперь Мне принадлежит! Я же тебе теперь повелеваю его в жертву за семью принести, за Агафью многострадальную, за сестрёнок твоих и братишек! Посмотри сюда, — Святой Отрок протянул к ней Свои окровавленные ладони, — Я ведь принёс Себя в Жертву из любви к тебе, ко всей семье твоей, ко всем людям страждущим!

Хочешь стать одной из сестёр этих, — Он повёл рукой вокруг себя, — стать монахиней во Имя Моё?

— Ей, хочу, Господи! — воскликнула Маша.

— Тогда помни заповедь монаха: «Дай кровь и прими Дух!» Принеси в жертву плоть и обретёшь святость души, не держись за земное — взойдёшь на Небо! Придёт время, и монашеский постриг тебя не минует. А пока принадлежи телом мужу, сердцем ближним, духом Богу! Я всегда буду с тобой, ты помнишь, что Я обещал тебе ранее?

— Помню, Господи!

— Мои слова непреложны, всегда держи их в памяти и никогда не теряй упования. Как бы тебе ни было тяжело — Я всегда рядом!

— Благослови меня, Господи!

— Благословение Моё с тобою во веки...»

Машенька проснулась.

Григорий Матвеевич утомлённо дремал, сидя на стульчике возле Машиной кровати, на его

смиренном лице лежала печать крайнего утомления. Агафья, откинувшись на подушки своей, задвинутой в угол, кровати, напряжённым, взволнованным взглядом вглядывалась в Машенькино лицо. Маша улыбнулась ей слабой, застенчивой улыбкой.

— Маменька, не волнуйся! Я пойду замуж за Григория Матвейча, у нас в доме будет кормилец!

Агафья глубоко вздохнула и закрыла исплаканные потемневшие глаза высохшими морщинистыми руками.

После святок Маша и Григорий Матвеевич тихо обвенчались в приходской церкви своего села.

#### ГЛАВА 4

Полунощница заканчивалась, небольшой братский хор после завершающего возгласа иеромонаха «Рцем и о себе самех!» тихой скороговоркой пропел троекратное «Господи, помилуй!», «Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!», «Аминь!».

Воцарилась небольшая пауза перед началом утрени. В алтаре позвякивал разжигаемым кадилком пономарь, уставщик закладывал богослужебные книги закладками из тканых ленточек с орнаментом в виде виноградных листьев и гроздьев. Певчие монахи присели отдохнуть на клиросной скамеечке.

Мать Селафиила отогнала от себя помысел, попытавшийся усадить её на скамеечку под предлогом хронически болевших ног. Стукнув по ним своей оструганной ореховой палочкой, старая монахиня чуть слышно проворчала:

— Нечего... Стойте. Скоро опять на шестопсалмие вставать!

Ноги у неё болели давно, с зимы одна тысяча девятьсот семнадцатого года. С того самого проклятого февраля, когда выползшая из кагалов преисподней бешеная волчица — «революция» — ещё только потягивалась, выпускала стальные когти, ещё только начинала приоткрывать капающей смертью оскал своей алчущей человеческих душ бездонной пасти.

Россия уже потеряла Царя.

Россия ещё не знала, что предстояло ей потерять в ближайшие десятилетия.

Машенька тоже не думала о возможных грядущих потерях.

Она была почти счастлива.

Шёл уже девятый месяц её первой беременности, доктор Константин Афанасьевич говорил, что с её ребёнком всё хорошо. В семье, несмотря на трудности затянувшегося военного времени и случившийся в Петрограде мятеж, тоже всё шло благополучно.

Машенькин муж, Григорий Матвеевич, удачно устроился в столярную артель, подрядившуюся изготавливать какие-то изделия для фронта: не то снарядные ящики, не то гробы для погибающих на фронте солдат. И в том, и в другом потребность была велика, потому и артельные столяры имели стабильный заработок на радость своих семей.

Агафья ткала целыми днями холсты на переделанном Григорием Матвеевичём под её наполовину парализованное тело ткацком деревянном станке. Холсты покупал местный купчик

Степанчиков, вроде бы тоже для военных нужд, дёшево, но постоянно.

Младшие дети учились в церковно-приходской школе, помогали, чем могли, по хозяйству, в меру озорничали и всё время хотели кушать — росли.

Маша, теперь уже степенная мужняя жена Марья Никитична, несла на себе все заботы и труды, традиционные для сельской русской женщины-хозяйки, — не перечесть их. Трудно, тяжело было беременной «молодайка» обиходить, обстирать, накормить восемь душ, кроме себя.

А куда деться? Откуда силы взять?

Выручала молитва. С детства приобывшая к непрестанному призыванию Имени Иисусова, наставляемая и научаемая советами старенького монастырского духовника иеромонаха Лаврентия, которого, хоть и редко, но всё же удавалось посещать ещё Маше в святой обители, молодая хозяйка старалась шагу не ступить, шей не посолить, не призвав Имя Господа, не испросив у Него мысленно благословения и помощи.

И Господь не посрамлял уповающую на Него. Всё как-то с трудом — но успевалось, на пределе сил — но делалось: дом был убран, скотина ухожена, все накормлены, да ещё и нахвалиться не могли — до чего же вкусно! Маша только тихо улыбалась про себя. Она-то знала, почему простая скудная пища такую радость доставляет едокам, знала ещё с монастырских времён!

Оно ведь, и до сих пор паломники в монастырях удивляются: картошка с хлебом, да ещё и без масла — а какая вкуснотища!

С молитовкой готовится, с Божьим благословением, оттого и вкусно!

Потихоньку приданное для будущего малыша шилось, а тут...

Передали проходившие через деревню богомольцы, что тяжело заболела в монастыре мать Епифания, нужно ей для сердца какое-то с иностранным названием лекарство, а то ведь и помереть может.

То лекарство Машенька у Константина Афанасьевича сразу достала, да вот передать не с кем, и нести пришлось самой, а всё ж восемнадцать вёрст, да по февральской стуже, да пешком...

Пошла, перекрестившись.

Туда добралась благополучно, часть пути дед с бабкой Ерофеевы на санях подвезли, остальное — в молитве за любимую крёстную — как-то незаметно и пролетело.

Дошла.

Крёстная и впрямь была плоховата. От «большой мамы» осталась исхудавшая желтокожая мумия со святающимися, несмотря ни на что, радостью и любовью глазами.

— Деточка моя! Спаси ты Христос! — встретила Епифания крестницу и принесённое ею лекарство. — Благодарю тебя за любовь твою и заботу! Только это не сердце болит у меня, солнышко моё! Это рак, деточка, видишь, как он меня уже обкушал со всех сторон? Ну, а как ещё было похудеть толстухе! — тихо засмеялась монахиня.

— Рак! — ужаснулась Машенька.



— Рак, деточка моя, рак! Ты этого слова-то не пугайся, рак болезнь хорошая, наша, монашеская! Он тебе звончком прозвенел: пора, мол, готовься, отлепляйся от земного — и времечка ещё немножко даёт пострадать, приготовиться, греховные страсти отболеть.

Так вот, поболел да приготовившись, и помирать хорошо! Особоровавшись, причастившись. Не то, что, не дай Бог, внезапная смерть али во сне, без приуготовления!

Слава Господу за всё!

— Как же так, крёстная...!

— Не горюй, деточка, моё время пришло, я к этому моменту всю свою жизнь в монастыре готовилась — к смерти телесной. Для того и мирской жизни умерла в постриге манатейном.

Верую, что Господь не оставит меня, грешницу, милостию Своею, уповаю на предстательство Матушки Пречистой, сорок два года я ей здесь, в обители, прослужила.

А по нынешним временам ещё и не знаешь, кого жальче-то должно быть — меня умирающую али вас остающихся!

Ох, болит за тебя сердце моё! Что-то тебе ещё, деточка, пережить доведётся!

Маша молча глядела на крёстную, стараясь навсегда запомнить её дорогие Машиному сердцу черты, слёзы тихо струились по Машиным щекам.

— Иди, деточка моя! Поцелуй меня на прощанье, да с Господом отправляйся домой. Тебе сейчас о живом надо думать, вон, пузень-то какой вымахал: не иначе богатыря родишь! Молись за меня, деточка ненаглядная, а уж я, коли сподобит Господь, за тебя Там молиться теперь буду. Чтобы потом у Христа Господа в Небесном Царствии сызнава встретиться да и не расставаться более...

Прощай, радость моя!

Обратный путь вышел много тяжелее.

Февраль, морозная слякотная стужа, темень ранняя, да и устала уже с животом-то...

Версты за три до деревни решила Маша срезать уголок, сойдя с санной дороги по тропинке через Гушин ручей, та тропинка почти к самому её дому выходила.

Да ледок-то на ручье и подвёл...

Провалилась Маша в студёный ручей по самую грудь, и зависла локотками на кромке ледяной, едва-едва кончиками лаптков ручейного дна касаясь.

«Вот и всё», — мысль пришла. — «Раньше крёстной преставиться сподоблюсь! Ни монахиней не стала, ни матерью!»

Тут забился младенец во чреве, замерзать, видно, начал, стал за свою крохотную жизнь бороться. Встрепенулась Маша, забултыхала ногами, стала цепляться изо всех сил за кромку ледяную, вылезти пытаюсь.

— Господи, помоги мне! Господи, спаси меня ради маленького моего! Господи, Иисусе, помилуй мя! Господи, Господи, Господи...

Словно подтолкнул Кто снизу, очутилась Маша на льду, отползла она от края полыньи, встала на ноги и, обмерзая на ходу ледяной коркой, двинулась, еле шевеля ногами, к уже близким огоньками деревни. Милостию Божьей добрела, ввалилась в сени, слабо крикнув, позвала на помощь и потеряла сознание.

Сознание возвращалось к ней в последующие дни многократно и также угасало, переходя в тягучее полузабытьё. Как во сне, странными обрывками видела Маша встревоженные лица мужа и лекаря Константина Афанасьевича, затем бабки Пелагии, известной в тех краях повитухи. Они что-то делали с Машей, ей было трудно и больно, потом наступило какое-то опустошённое облегчение. Затем ей привиделся приходский батюшка отец Афанасий, Маше запомнился запах ладона, кажется, её причащали.

Когда Маша пришла в себя окончательно, живота не было, во всём теле царила немая пустота, только занудно болели ноги. Григорий Матвеевич наклонился над ней, поправляя одеяло.

— Очнулась, Маша! Слава Богу! — и, помолчав, добавил. — Молись, Маша, за сыночка нашего! Его звали Владимиром, мы его и окрестить, и причастить успели, он прожил целых четыре дня...

Я его похоронил рядом с Никитой Степанычем, отцом твоим...

Маша улыбнулась, поёжившись под одеялом.

У неё был сыночек Володенька! Теперь он с любимым таточкой в светлом Раюшке! Ведь все младенчики, умирая, попадают сразу на Небо! Машенька почему-то не сомневалась, что и её любимый таточка тоже пребывает у Господа в обителях светлых. Им там вместе так хорошо, наверное! Дедушке и внуку. Они ведь там молодые, здоровые и красивые! И любят друг друга!

— Господи! — прошептала неслышно Машенька. — Господи! Слава Тебе за всё! — И тихонько, почти не горько, заплакала.

Вот с той поры у неё и болели ноги, болели всегда, когда потише, а когда и посильнее...

## ГЛАВА 5

«Господи, услыши молитву мою, внуши моление уст моих...»

Шестопсалмие читал отец Максим, настоятель монастыря, читал медленно, негромко, чётко выговаривая каждое слово своим высоким, звонким, почти детским голосом. Детские же искренность и чистота души, глубокое сокрушение о своём недостойнстве и надежда на неисчерпаемую любовь и милосердие Божие звучали в его взлетающей в высоту храма молитве, и все стоящие в храме монахи, послушники и трудники невольно проникались тихим сердечным умилением, производимым в их сердцах вечными словами Псалмопевца.

Мать Селафиила любила отца Максима, уважала в нём настоящего монаха-подвижника, со смирением несущего внезапно возложенное на него Владыкой послушание настоятеля, и всей душой стремящегося быть, если уж не отцом — сложно в 27 лет ощущать себя отцом сорокапятидесятилетних братьев, в основном, недавно воцерковившихся после бурно прожитых лет большей части своей мирской жизни, — то хотя бы заботливым руководителем, надёжным другом и кормильцем.

— Молись, батюшка, молись больше и горячее, через молитву Бог всё тебе подаст, что нужно хорошему игумену!

Ты так и проси: «Господи! Мал бех в братии моей, немощен есмь и окаянен! Но Ты Сам, яко Пастырь и Пастыреначальник, сотвори меня добрым быти пастырем братиям моим, которых Ты дал мне пасти! Не меня ради, грешного, но ради спасения душ рабов Твоих, братии святой обители сей, подай мне всё благопотребное во служении людям Твоим, дар рассуждения духовного, любви нелицемерной, милосердия и терпения!»

Проси, и дано тебе будет. Без Божьей помощи и укрепления, стяжаемых через усердную молитву, ещё никто хорошим настоятелем не становился, — наставляла наедине отца Максима старая схимонахиня, почитаемая им как духовная мать.

— Раз Господь тебя над братией пастырем поставил, значит, видит, что ты можешь быть пастырем добрым, а не наемником. А раз можешь, значит — должен! Не забывай, как Христос ученикам ноги мыл и то, что не братия — твои холопы, а ты — им слуга!

Главное в руководстве братией — пример.

Сергий Радонежский да Афанасий Афонский, Антоний Великий да Нил Столобенский, равно как и большинство святых игуменов не богословствованием, а личным подвигом да любовью обильною к себе множество учеников и последователей привлекали. И главный пример игумена в общежительной обители должен быть в его отношении к божественной службе церковной.

Первый после пономаря в храм приходи и служащему в череду иеромонаху на служение благословение преподай. Сам всегда шестопсалмие читай, да канонами на утрене не брезгуй, в них весь смысл и поучение дневной службы, пусть их братия от твоих уст воспринимает.

Братские молебны и сходы всегда сам возглавляй, на регентов не скидывай: братии важно видеть что «кормчий корабля у руля стоит», а не в игуменской келье чайком услаждается. Не будь, как иные, что словно «ясно солнышко» к полиелею выкатываются, а после славословия уплывают! Таким Господь не благоволит!

Василий, вон, Царствия ему Небесного, настоятель Грушицкого монастыря, именно так и ходил на всенощные, даже под праздники Господские да Богородичны — от полиелея до славословия — ему, мол, по слабости желудка пораньше откусать полагалось! Помер нехорошо, в нужнике, какой-то сосуд в голове лопнул, видать — тужился сильно...

Послушаний непосильных на насельников не возлагай, послушание должно помогать молитве, а не мешать ей! Послушание без молитвы — каторга! И никому такая каторга духовной пользы не приносила, один вред. Когда монах еле живой с послушания доползает до кельи, а тут ещё и келейное правило совершать надо — будет он его совершать с радостью и плодотворно?

Напротив, к молитве, как к ещё одной каторге относиться начнёт! И всё! И нет монаха-молитвенника! Вот бесам-то радость!

А то ведь любят у нас в монастырях талдычить — «послушание паче поста и молитвы!» Так ведь только послушание в любви плод приносит, послушание любящего чада Отцу Небесному!

Отцу! А не надсмотрщику с кнутом!

А никакой любящий отец своё чадо упакивать «вусмерть» не будет, того даже хороший крестьянин со своей скотиной не делает — бережёт!

И ты, отец настоятель, братьев своих береги — тебе за них ответ Богу давать!

Да и приезжающих паломников не перетруждай, они к тебе не в трудовой исправительный лагерь приехали! Давай отдохнуть, на службах с братией помолиться, духом монашеской молитвы напитаться — они за этим к тебе сюда и едут, за молитвенным духом, которого у себя в приходах в такой полноте, как в монастыре, получить не могут. Оттого и едут в монастыри.

А тут их, дармовую рабочую силу-то, сразу с порога: «послушание паче поста и молитвы!» — как обухом — хлоп! И давай вместо службы на стройки да на огороды! Этак-то они и у себя на дачных участках «напослушаются»!

Пусть потрудятся во славу Божью, пусть поток прольют! Но только в меру, не в ущерб молитве! Таскание кирпичей и копанье грядок само по себе благодати Божьей не даёт, только соединённое с молитвой! А с молитвой и любой труд будет в радость, тем более в святом месте! Ставь себя на их место почаще, и в прямом смысле тоже, с лопаткой на грядке!

Сам все послушания освой да своим хребтом познай. Тогда лучше будешь людей понимать и их возможности да потребности телесные и душевные тоже.

Относись к ним по-евангельски: как ты к себе хотел бы! Вот и станешь тогда добрым пастырем и хорошим игуменом!

Отец Максим умел и хотел слушать, и слова старицы глубоко западали в душу молодого настоятеля. Понимая, что в лице опытной в монашеском делании схимницы он имеет редкого для своего времени наставника, он ценил каждое слово, каждое наставление, полученное от неё, хотя далёко не всё понимал сразу. Тем более что нередко мать Селафиила говорила ему что-либо образно или и вовсе непонятно.

Однако за то небольшое время, что им довелось жить вместе под кровом обители, отец Максим уже успел убедиться, что старица не произносит зря ни единого слова и что, порой, сказанная ею пословица или шутка через какое-то время оказывалась пророческим предупреждением или важной подсказкой.

Мать Селафиила радовалась, видя как насаждаемые ею в настоятельской душе семена монастырского опыта, приживаются, возрастают и рожают духовные плоды. Она вспоминала своих духовных наставников, монахов и священников, старцев и схимонахинь, всех, кого Всемиловитый Пастырь душ человеческих посылал ей в своё время для руководства и обучения премудростям монашеской жизни.

— Помяни, Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего иеромонаха Лаврентия, воздаждь ему сторицею за его любовь ко всем людям Твоим, а наипаче к нам, монашкам окаянным! — крестилась она с умилением, вспоминая своего первого духовного отца.

Отец Лаврентий с незапамятных времён был духовником обители, где подвизалась Машенькина крёстная и где зародилась в сердце девочки горячая любовь к «житию постническому».

Когда-то, во второй половине девятнадцатого века, будучи отправлен Преосвященным Владыкой в женский монастырь в качестве духовника в наказание за слабость к винному питию, уже немолодой священник вдруг совершенно переменялся духом, словно проснулся, увидев бедственное положение сестёр-монахинь пребывающих в полном духовном сиротстве.

Служившие в обители в чреду «белые» — женатые — батюшки, сердцами и утробами прилепленные к своим приходам и семьям, честно, по-наемнически, служили литургии да всенощные, вечерни да молебны с акафистами. Но даже исповеди сестёр выслушивали в «пол-

уха», нетерпеливо теребя конец епитрахилия, торопливо возлагаемый на очередную главу в апостольнике со скороговоркой: «... и аз, недостойный... прощаю и разрешаю».

— Я, милые, в этих ваших монашеских делах не силён, — словно сговорившись, отвечали на все вопросы сестёр приходские батюшки. — Я здесь прислан Владыкой литургисать да требничать! А по духовным потребностям у вас игуменья есть, старицы вон в схимах... Их и спрашивайте!

А что игуменья? Той бы и самой от кого назидание получить, хоть уж не первый десяток лет с крестом ходит! Заботы настоятельские немного времени оставляют для стяжания богатства духовного, когда на твоих женских плечах почти триста сестёр, которых и прокормить, и обшить, и мало ли ещё чем обеспечить надо! А схимницы хоть и молитвенны, да просты и, по смиренной своей простоте, безгласны...

Увидев «жатву без делателей» великую, отец иеромонах настолько уязвился сердцем, почувствовав к блуждающему без доброго пастыря стаду «овечек Христовых» такую жалость и сострадание, что враз всю прежнюю дурь винную словно Некто вышиб из него единым ударом. Взялся отец Лаврентий за чётки да за Добротолюбие, а за Добротолюбием и Владыки Игнатий с Феофаном в его келье поселились трудами своими, а следом и множество других Святых Отцов.

Испросив благословение удивившегося этому Владыки, начал иеромонах Лаврентий ежедневно Божественную Литургию совершать, осознав, что без благодатной поддержки Святых Таин не понести ему того груза, что он пред собою узрел. Приходские попы тому зело возрадовались, ибо их ноша намного полегчала, оставив им соборные служения по воскресеньям да по праздникам.

Сестры да и сама матушка настоятельница сразу же духом уловили, что есть у них теперь отец неравнодушный и к их немощам жалостливый. А ведь женской натуре, хоть и одетой в подрясник, только дай плечо, к которому прислониться!

Словом, про свободное время отец Лаврентий навсегда позабыл. Навалились на него сестры всей обителью с вопросами, жалобами, просьбами о молитвах.

— Зря вы меня, матери, штрафника и пьяницу, такими высоким материями озадачиваете, — отбивался от вопрошающих сестёр боящийся затщеславиться иеромонах, — аз яко свиния в калу лежу и рыло своё свиное к Небу поднять не дерзаю. Вы лучше книжечки духовные читайте! Там великие Святые Отцы на все вопросы ответы дают! Вот как раз по вашему вопросу святой Иоанн Дамаскин следующее говорил...

И утешенные словами Святых Отцов, сказанными от неравнодушного сердца отца Лаврентия, сестры отходили от него не вполне веря в «свинское лежание в калу» их духовника.

С годами, прошедшими в непрестанном служении у престола и аналоя с Крестом и Евангелием, в еженощном келейном молении по чёткам и ежедневном утешении и наставлении сестёр обители, постоянном, при малейшей возможности, чтении Святых Отцов, обрёл иеромонах Лаврентий смиренномудрие, любовь нелицемерную и дар рассуждения духовного.

В этот период его жизни, период всё усиливающейся немощи телесной и всё возрастающей силы духа, в первый раз подошла к батюшке Лаврентию за благословением недавно чудом исцелившаяся отроковица Мария. Они посмотрели друг другу в глаза, и искренняя непорочная доверчивость отрочества встретилась в этом взгляде с ласковой мудростью одухотворённой старости. Каждый из них почувствовал в другом присутствие Христа, и с той самой минуты их

духовная связь оставалась нерушимой до самой кончины блаженного старца.

А и кончина его чудной была! В двадцать первом, жестоком, безбожном, году, когда кровушка христианская, а наипаче священническая да монашеская, реченьками струилась по земле Русской, пришли за батюшкой в избёнку, где он доживал последние деньки, краснобантные и краснолицые от самогона матросики.

Встретила их на пороге мать Валентина, келейница старчика, здоровенная, угрюмого вида инокиня непонятного возраста.

— Позови попа своего, комиссар его ждёт! — затоптались под её тяжёлым взглядом опоясанные пулемётными лентами посланцы.

Молча перед ними дверь захлопнула келейница, но через минуту вышла снова.

— Батюшка Лаврентий полчасика на приготовление просит, подождите во дворе! — тоном, не терпящим возражений, заявила монахиня и вновь захлопнула дверь.

— Полчасика? Ну, пусть полчасика, раз надо, — забормотали заробевшие гвардейцы революции, — покурим пока, братва! Сёмка, ну-ка плесни, что там, в «пузырьке», осталось!

Через полчасика дверь отворилась, мать Валентина вышла во двор, оставив дверь в избу открытой, глаза её были мокры.

— Ну что, поп твой приготовился? Нам его ждать боле некогда! — Повставали с поленцев матросы, поправляя за поясами наганы да бомбы.

— Приготовился.... Заходите!

Потоптавшись у входа, зашли, почему-то сняв бескозырки.

— Ох, ты, ёж-пере-ёж! Вот так приготовился! — ахнули, войдя и обомлев от увиденного.

Посреди горницы, на столе, в новеньком сосновом гробу, с Крестом и Евангелием в остывающих руках лежал в полном священническом облачении сухонький седенький старец. Лик его сиял иконописной красотой и радостью, пахло ладаном и ещё каким-то тонким, необычайно сладостным благоуханием.

— Что ли помер? Ты глянь, а?

— Пошли! — шмыгнув носом, командовал старший. — Здесь нашим рожам не место!

— Я ведь помру скоро, Максимушко! — словно о самом будничном деле говорила молодому настоятелю мать Селафила. — Ты уж хватай от меня всё, что можешь, пока умишко мой ещё ясен и память цела! Спрашивай обо всём, что волнует, после меня у тебя такого наставника больше не будет...

Но ты об этом не печалься! Вспоминай мои наставления, в них опыт многих монахов целого века сокрыт.

Ищи тишины сердца и ни над кем не возносись даже помыслом, остальное Господь потихоньку Сам управит. А за советом к схиигумену Иннокентию в Бобричи обращайся, он мой старый духовный друг, я ему как себе доверяю.

— Матушка! — искренне волновался отец Максим, — Ты проси у Господа ещё пожить! Для нас, грешников, неопытных да прегордых!

— Не дерзну, Максимушко! Господу виднее о нас, буди воля Его святая во всём! Я и так уже все срока пережила, сто второй годик доживаю, скоро со своим батюшкой Лаврентием свижусь, приму от него святое благословение...

## ГЛАВА 6

— Батюшка! Как же мне жить-то дальше! Что-то я совсем потерялась — вроде и на месте не сижу, по хозяйству делаю всё, что положено, супруг мой да мама Агафья мною довольны. А у меня на душе пусто как-то! Когда я в храме Божьем стою за божественной службой, мне так хорошо, так счастливо, что и не выходила бы! А в миру скучаю я как-то по Господу!

— Ты, Мария, потому скучаешь, что в храме ты всё мирское забываешь и с Самим Господом Иисусом Христом посредством молитвы общаешься. А Он, в ответ на твою молитву, ниспосылает тебе благодать Духа Святаго, через которую Любовь Божественная в душу твою нисходит и там поселяется. Душеньке твоей и хорошо в любви Господней пребывать, вот потому-то она в храме Божьем и блаженствует, — отец Лаврентий тихо перебирал узловатыми пальцами засаленные узелки старых шерстяных чёток.

— А когда ты из храма Божьего в мир выходишь, ты этот мир с его заботами и страстями в душу свою впускаешь. А он, мир-то этот, — буйный, тогда как благодать Божья — тихая, нежная. Вот этот мир своим буйством благодать Божью из души и прогоняет!

— Батюшка! — встrepенулась Маша. — Ну как же можно, живя в миру, да с таким, как у меня, хозяйством, благодать в душе удержать? Из храма домой вернёшься, а там — одно, другое да третье — закрутишься так, что и вздохнуть не успеваешь! Как тут мир с его заботами в душу не пустить, когда он сам туда так и врывается!

— А как ты в доме зимой тепло поддерживаешь? Выстужает же, поди, каждый раз, как дверь на улицу открываешь?

— Так я вовремя дровец подбрасываю! У нас печка хорошая, сам Григорий Матвеевич летом «под» и трубу переложил! Теперь я с утречка печь протоплю да на ночь охачку дров подброшу, и всё время в доме тепло!

— Вот так и душа твоя, деточка! — старый иеромонах улыбнулся. — Так и душа человеческая тоже требует, чтоб ей «дровишек» подбрасывали, да не два раза в сутки и не раз в неделю — в храме по воскресеньям, — а непрерывно, каждую секунточку, каждый вдох и выдох! Тогда никакой мир душу и не выстудит!

— Это как же так, батюшка?

— Это так, деточка моя, что тебе надо учиться молитовке умной, непрерывной, деланию святому! Ты ведь до замужества в монастырь собиралась?

— Сбиралась, батюшка! Но Господь по-другому судил... Я ведь мечтала, как мать Гавриила, всегда во Храме Божьем, во святом алтаре пребывать...

— Так ведь, деточка моя, «церковь не в брёвнах, а в рёбрах»! И святым алтарём само сердце христианина стать должно! Во Священном Писании Павлом Апостолом глаголется: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога...»

— Как это может быть, батюшка? Я не понимаю!

— А бывает это так, Машенька: когда христианин молитву Иисусову непрестанно творит, святое Имя Господа Иисуса Христа умом и сердцем призывает, то Сам Господь это призывание слышит, искреннее обращение к Нему приемлет и пришествием благодати Духа Святого в сердце христианина отвечает. А когда Дух Святой в сердце человеческое входит, то и становится сердце человеческое, а вместе с ним и душа, и тело, и всё его существо — храмом Божиим!

И тогда человеку неважно, где он находится: дома ли, в церкви, на пути или ещё где-либо — везде он ощущает себя словно в храме или в самом Царствии Небесном, ибо само Царство в нём пребывает по слову Господа Иисуса Христа: «... Царствие Божие внутрь вас есть».

— Батюшка! А как же Царство Божие может быть во мне? Я ведь думала, что Царство Небесное — это такое место на Небушке, где Господь живёт с Матушкой Своей, Ангелами Светлыми и Святыми Божьими!

— Так и место такое тоже есть! Только, деточка моя Машенька, слово «Царствие» две вещи собою обозначает. Первое — это место обитания душ святых и общения их с Господом во вселенной. Оно безгранично и непостижимо как и Сам Господь. Можно сказать, вся вселенная и есть Царствие Божие, кроме преисподней адской.

Ад — это место, где общения с Богом нет. Оттого место сие и есть — место страдания. Ведь душа человека, по образу Божьему сотворённого, только с Богом и в Боге упокоиться может и в Его любви стать вполне счастливой. Люди и здесь, в земной жизни, без Бога страдают, оттого что ничем Его любви в своей душе заменить не могут, никакими земными утехами и наслаждениями.

А уж как страшно вечно быть от Бога отлучённым!

Тем он и Ад!

А второе значение слова «Царствие» есть власть, владычество! То есть состояние души, когда в ней царствует и всем управляет Бог.

Который есть Любовь.

Если ты избрал своим Царём и Владыкой Сына Божьего и Бога Иисуса Христа, ты — раб Божий. Избрал страсти греховные, ты — раб страстей, а через них — самого дьявола!

Когда же ты посредством молитвы Иисусовой призываешь в своё сердце Господа Иисуса Христа, то тем самым ты предаёшь себя во власть Его, и Он царствует в тебе Своей любовью и благодатью, то есть Его Божественная Любовь управляет всеми твоими мыслями, чувствами, решениями, словами и делами.

Так и исполняются слова Святого Евангелия: «Царствие Божие внутрь вас есть».

И тогда, под действием благодати и любви царствующего в тебе Христа, всё твоё существо преобразуется, становится духоносным, любвеобильным, причастным к миру духовному уже в этой земной жизни. И, порой, общение с миром духовным, с Небом святым, становится таким, что...

Но пока тебе об этом рано знать.



Евангелист Матфей передал нам слова Самого Господа: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его...».

Тем самым Господь заповедует нам трудиться для стяжания в себе Царствующего Христа, трудиться и сердцем, и умом, и телом. Для стяжания телесной пищи необходим телесный труд: пахать, сеять, собирать урожай, муку молоть, печь хлебы — и уж потом насыщать ими тело.

Так и для стяжания духовной пищи — благодати Всесвятаго Духа — тоже необходимо работать изо всех сил. Только здесь потребно иное орудие — не плуг, не борона, не жёрнов, а усиленная непрестанная молитва.

— Батюшка! А как это — усиленная? И где же на неё ещё силы брать, когда и так все силы на домашний труд уходят! Ещё бывает, что во время дела какого-нибудь, как-нибудь воздохнёшь молитвенно, но чтобы непрестанно...

— Доченька, Машенька! Ты послушай, что говорит Апостол Павел, после того как он просил у Господа отнять от него телесное страдание: «... Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен».

Вот и нам надо полюбить немощи наши, особливо обиды, нужды и гонения за Христа!

Так как немощь телесная не препятствует стяжанию в себе Царства Божия, но, напротив, порой, просто необходима для этого. Плотской ведь человек, пока в нём сила плотская водится, чего обычно ищет? Утехи плоти!

А чуть прижмут его недуги, сразу — Господи, помоги!

Потому Отцы Святые, столпы и наставники монашествующих, заповедуют нам свою плоть угнетать! Чтоб не препятствовала духу с Богом общаться! Чтобы, как лошадь, под уздой смиренно седока носила, а не без узды — сбрасывала и скакала по своим похотям! Недуги или труды телесные и есть — узда!

В одной северной обители, где мне побывать довелось, настоятель благословлял молодым монахам зимой, когда трудов телесных в обители мало, рубить во льду две проруби, шагах в пятидесяти одна от другой, и носить воду подолгу. Из одной проруби почерпая, в другую прорубь выливая. Носить и одновременно про себя молитовку Иисусову творить! Много в той обители я иноков духовных видел, молитвенников изрядных, благодать стяжавших...

А тебе-то и никаких трудов специально придумывать не надобно — и домашних хватает! Только к трудам плоти соедини труд души — молитву! И тогда постигнешь, что есть Царство Божие внутри тебя! В тебе есть монах, у тебя получится, я вижу...

— Батюшка, родненький! Научите, как труды с молитовкой святой Иисусовой совмещать!

— Первым делом, чадушка, надо приучить себя к непрестанной памяти о Божьем всеприсутствии, Его постоянном рядом с тобой нахождении.

— Как это сделать, батюшка? Я, порой, в делах житейских совсем о Боге забываю: закручусь, забегаясь, опомнюсь — и стыдно становится...

— А ты про маму Агафью всё время помнишь?

— Ну, конечно! Она же в избе лежит всё время, у меня на глазах! Я за ней присматриваю, чтоб ей хорошо было, а она за мной! Порой, поругает, хоть я и мужняя жена, наедине, правда. Она меня любит, хочет, чтоб я исправная была перед мужем и перед Господом, чтобы мне жилось хорошо...

— Так и Господь наш, деточка! Он ведь тоже всё время рядом, и всё время за нами присматривает, чтоб нам хорошо было, чтоб мы были счастливы! А хорошо нам тогда, когда мы по заповедям Божиим живём, Он для того и дал их нам, чтобы мы счастливы были!

Даже так прямо и сказал в нагорной проповеди: счастливы («блаженны» по церковно-славянски) «нищие духом», то есть смиренные. Счастливы — милостивые, счастливы — чистые сердцем и так далее. И, наоборот, запретил то, что нас счастья лишает: воровать, блудодействовать, завидовать...

Вот ты себе и напоминай постоянно, что Господь рядышком всё время, любящий тебя, как мама Агафья, и даже во стократ сильнее, ибо даже до Крестных страданий Его любовь к нам простерлась! И Желаящий дать тебе благодать свою спасительную, которую ты и получаешь всякий раз, как сердцем воздохнёшь: «Господи! Иисусе Христе! Сыне Божий! Помилуй мя, грешную!».

Ты так и воздыхай сердцем! Делай, что тебе по хозяйству нужно, а сама помни о рядом пребывающем Господе, как об маме Агафье помнишь. Помни да потихонечку и зови Его, хоть кратенько: «Господи! Иисусе Христе! Помилуй мя!».

Коли навикнешь жизни такой: памяти Божьей, хождения пред Ним, да молитвы непрестанной — будет и у тебя в сердце — Храм, а в дому твоём монастырь, ты и не заметишь, что мир тебя окружает, настолько он тебя перестанет своим заботам да страстям подчинять!

Да причащайся почаще! Коли сможешь, так каждый день воскресный, когда Господь по естеству женскому благословит, а ежели и на буднях праздник какой станет, ты и в праздник причащайся! Господь для того нам Свои Святые Дары Тела и Крови и даровал, чтоб мы ими всегда освящались, а не просто, на обедне постояв, тщи отходили.

Без частого причастия никакой молитвенный подвиг не пойдёт, ибо молитва — это общение с Господом в благодати, а когда в нас Святые Дары Тела и Крови Христовых — Сам Господь в нас молится, Сам всё наше естество освящает и преображает!

И ещё...

Слушайся духовных наставников своих, кои у тебя впереди ещё будут, не доверяй своему собственному человеческому разумению, наипаче в вопросах духовных.

Для того Святая Церковь духовничество и благословляет, что сам Господь устами Апостола Павла его в церкви установил: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а, не вздыхая, ибо это для вас бесполезно».

— Каких наставников, батюшка? У меня же есть вы?

— Я у тебя, Машенька, не всегда буду, стар уже, скоро Господу отчёт давать! Но тебе вместо меня даст Господь других духовных руководителей, которые тебя далее по пути спасения

поведут...

— Батюшка! — заплакала Маша. — Я не хочу других! Я хочу, чтобы вы всегда были!

— Деточка моя! — старый священник погладил по голове плачущую девушку заскорузлой, искривлённой болезнью суставов рукой. — Ты учись жить не «как я хочу», а «как хочет Господь»!

Ибо хочет Он твоего спасения и вечного для тебя счастья! И Он лучше знает, каким путём тебя к этому счастью привести!

Доверься Ему и принимай всё, что Господь тебе посылать будет, как самое для тебя важное и спасительное! Всё, что к нам в жизни нашей извне, от Господа приходит, есть для нас случай проявить себя христианином, правильным решением, словом, поступком приблизить себя к Богу и Бога к себе! Молись непрестанно, и будет твой ум ясен и способен принять правильное решение в любых обстоятельствах!

— Помолитесь и вы обо мне, батюшка...

## ГЛАВА 7

«Бог Господь и явился нам! Благословен Грядый во Имя Господне», — слегка прерывающимся от волнения высоким голосом возгласил недавно рукоположенный во иеродиакона кроткий отец Антонин.

Мать Селафила позволила себе переступить с ноги на ногу, дав чуть-чуть ослабнуть на краткое время привычной ноющей боли в коленях и стопах.

Невысокого росточка, щупленький, светловолосый, с пронзительно чистыми небесно-голубыми глазами, отец Антонин был любимцем матери Селафила да и не только её. Его искренняя детская простота и доброжелательность ко всем окружающим обезоруживали любого, даже находящегося в самом немирном расположении духа, человека, он, словно Ангел-миротворец, всюду привносил с собой некий особый дух тишины и дружелюбия.

Хотя хлебнул он в жизни всякого...

Родился он от матери, погрязшей в беспробудном пьянстве, пьяном блуде и прочих непотребствах, опустившейся и вконец потерявшей человеческий облик. Трудно себе представить, как он вообще выжил, тщедушный мальчик Валентин, в том прокуренном, загаженном хлеву-притоне, на покрытом превратившимися в лёд из-за не закрывающейся зимою двери мочой и человеческими экскрементами полу, среди пьющих, орущих, дерущихся и блюющих собутыльников и сожителей матери, то перешагивающих, то отбрасывающих пинком с дороги путающегося под ногами посиневшего от холода, голода и побоев, слабенького рахитичного младенца.

Какая-то сердобольная соседка, ужаснувшись увиденного, выкрала его из этого «предбанника преисподней» и снесла в больницу, в которой он всё-таки смог не умереть от двухсторонней пневмонии, ушибов мозга и воспалительного процесса в застуженных почках.

Пока его спасали и лечили в больнице, «Ефимовский гадюшник», как называли односельчане родной дом будущего иеродиакона, благополучно сгорел со всеми находившимися в нём пьяными обитателями то ли от окурка, то ли от замыкания в проводке. То ли кара Божья постигла оскотиневших грехотворцев, то ли рука человеческая помогла... Словом, выписали

осиротевшего Валечку из больницы прямо в районный детский дом, где он уже и рос до двенадцати лет, до самого начала Перестройки.

— Мама у меня была красивая и хорошая, — вспоминал всегда с любовью свою беспутную родительницу отец Антонин, — только очень больная она была, душой...

В начале Перестройки районный детский дом закрыли из-за нехватки финансирования, детей распределили по другим детским домам и интернатам. А хрупкий двенадцатилетний подросток Валентин где-то по дороге то ли потерялся, то ли сбежал от опостылевших «дедовщины» и казёнщины, ну а в сумятице переездов его как-то и забыли толком поискать.

Что он делал в течение четырёх месяцев от «потери» и до обретения его монахами в стогу на монастырском сенокосе, он сам то ли не помнил, то ли не хотел вспоминать. А монахи его особо и не расспрашивали, накормили, подобрали необходимое из одежды и оставили в монастыре, тем более что на восстановлении из руин монастырских построек даже детские руки — помощь осязаемая. Остался в монастыре Валентин сперва до осени, потом до Рождества, потом до Пасхи, а потом и вообще остался.

Выправил ему настоятель через знакомых милицейских начальников документы и легализовал беглеца в качестве питомца монастырского приюта, бывшего ещё только в проекте. А в четырнадцать лет одел отрок Валентин подрясник и получил уставное звание — «послушник».

«Камень, егоже небрегоша зиждущии, от Господа бысть сей и есть дивен во очесех наших!» — трепетным торжеством звенел под куполом скитской церкви голос юного иеродиакона.

— Светленький мальчик, чистое сердечко! — подумала схимница. — Как же он похож на Стёпочку!

Стёпочка был племянником мамы Агафьи и гостил в Машиной семье, подменяя в тяжёлых мужских работах по хозяйству уехавшего на заработки Григория Матвеевича. Он был таким же худеньким, таким же чистым и целомудренным юношей, как и иеродиакон, и даже небесным цветом глаз был необыкновенно похож на отца Антонина. Ему едва исполнилось шестнадцать.

Шёл 19... год. Повсюду началась «коллективизация», крестьян гнали в колхозы. В Машино село тоже приезжали агитаторы, собирали «активистов», собрали мало.

Маша, седьмой месяц носившая под сердцем младенчика, будущую доченьку Василису, имевшая уже в то время на руках полуторагодовалую доченьку Сашу, дохаживавшая уже почти бездвижную Агафью, руководила на правах хозяйки дома шестью своими младшими братьями и сестрёнками, возрастом от шести до пятнадцати лет.

Господь, по многим и горячим Агафьиным и Машиним молитвам, даровал им взамен почти разрушившегося, усевшегося в землю и скособоченного дома новый, белеющий свежеструганной руками Григория Матвеевича древесиной, нежно и сильной пахнущий сосновой смолой, домик на выделенном деревенской общиной земельном участке с краю деревни, рядом с удобным выпасом для молодой и игривой Машиной коровки.

От вступления в «колхоз» Маша с Григорием Матвеевичем отказались.

Трудами всей семьи хозяйство, несмотря на все перипетии страшных послереволюционных лет, неуклонно крепло и умножалось. Новый домик, сарай, амбар, коровка, лошадь, с полсотни кур и гусей, похрюкивающий в стойлице поросёнок, козички, огород, надел с пшеницей — всё требовало рук, усердных, непокладаемых, трудов неленных.

Трудилась вся семья с молитвой, с упованием на помощь Божью и заступничество Пречистой Божьей Матушки, лишь по воскресным дням давая роздых натруженным за истекшую неделю телам ради питания душ Небесной пищей Пречистых Тела и Крови Господних в пока ещё не закрытой большевицкими начальниками сельской церкви. Агафью раз в две недели причащал прямо в постели всё более сгибающийся и седеющий под гнётом нарастающих вокруг скорбей приходский батюшка Иоанн.

В тот день, ясный и солнечный, пока Маша с двумя младшими сестрёнками, отправив остальных детей на пастбище приглядывать за семейной скотинкой, устроила на речке, протекавшей в двухстах сажнях от их дома, «великое» полоскание белья, смиренный Стёпочка колол недавно привезённые во двор берёзовые дрова.

Во двор, ударом сапога распахнув калитку, вразвалочку ввалилась группа провонявших махоркой-самосадом и сивухой сельских «активистов». Эту, подобную одичавшей стае бездомных собак, шайку возглавлял подпрыгивающий на хромой, по пьянке отмороженной в снегу, ноге известный всей округе воровством и пьянством Серька Пустогляд, ныне староста села, подобострастно величаемый своими собутыльниками «Сергеем Лукичём».

Своё столь неожиданное назначение на должность старосты пьянчужка Серька получил из рук затянутого в чёрно-кожаные галифе и куртку комиссара Самуила Фирера, внезапно приехавшего в Машино село с отрядом каменнолицых латышей-стрелков. Комиссар брезгливо и долго подслеповато разглядывал согнанную на сход толпу сельчан сквозь золочёное «пенсне».

Затем, вонзив обтянутый лайкой перчатки перст в стоявшего слегка в сторонке, мучающегося с похмелья Серьку, сверкнув угольями зрачков и подтянув повыше кобуру-коробку маузера, курчавый комиссар визгливо объявил:

— Вот ты, как настоящий пролетарий, будешь теперь руководить этим паршивым селом и проводить в нём политику партии большевиков и трудового пролетариата!

— Да он же вор и пьянь голодранная! — поражённо воскликнул быстрый как на работу, так и на язык Петруха Голованов.

Вслед за кивком фуражки комиссара латышские приклады тут же обрушились на голову и рёбра растерявшегося от неожиданности Петрухи, кровавая тело и ломая кости. Народ в безмолвном ужасе шарахнулся по сторонам.

— Ну! Кто ещё хочет идти против народной власти? — ещё визгливее вскрикнул комиссар.

Подавленное молчание толпы было ответом.

— Вот так! Кто был ничем, тот станет всем! — довольно объявил Фирер. — Гойское быдло...

Комиссар с латышами уехал.

Петруха к вечеру умер от ран.

Серька стал хозяином села.

Ему и поручили власти «агитировать» за «коллективизацию».

Вторым за Серькой в Машин двор ввалился первый Серькин собутыльник, охранник и

исполнитель самых страшных и грязных поручений Фролка-каторжный, Фролка-убивец или просто Каторга.

Все прозвища, данные Фролке горячо ненавидящими его односельчанами, соответствовали действительности. Незадолго до Февральской «революции» уже не раз сидевший в «околотке» за разгул и драки, кривой на один глаз верзила Фрол отметился в соседней деревне самым страшным образом: ограбил и убил, садистски насильничав перед этим, живших в деревне на отдыхе вдову недавно почившего городского чиновника Аглаиду Силантьеву с тринадцатилетней дочерью Глафирой, над которой Фрол издевался особенно изощрённо.

Суд приговорил его к пожизненной каторге, народ чуть не растерзал по дороге из тюрьмы к «столыпинскому» вагону.

Февральский переворот никак не отразился на его положении в сахалинском каторжном остроге, но пришедшие к власти большевики, увидев нём «социально близкого» и, пусть не самым благородным способом, но тоже «борца с буржуазией», открыли перед Фролом ворота «воли» и призвали его и дальше бороться за социальную справедливость.

Услышав и по-своему поняв этот призыв, Фролка с двумя подельниками за время длительного пути с далёкого Сахалина в центральную Россию убили и ограбили купеческую семью из восьми человек, включая маленьких детей и отставного офицера, ехавших спасаться от Красного террора в Китай, и затем, уже в России, зарезали, долго втроём насильничав перед этим, молодую сельскую учительницу, бросив её обезображенное тело возле железнодорожной насыпи.

Оказавшись на родине, убивец Фролка, по-шустрому сориентировавшись в политической обстановке, немедленно стал верным приспешником старосты Серьки и благодаря этому получил почти не ограниченную свободу творить любые злодеяния именем «народной власти».

Остальных «активистов», как всего лишь жалкое подобие своих «вождей», нет смысла и описывать.

— Ну что, кулацкий прихвостень, батрачишь? — ухмыльнулся, качаясь на похмельных ногах, поддерживаемый Каторгой, Серька.

— Что вы! — улыбнулся в ответ Стёпочка. — Какой же я батрак? Марья Никитична родня мне, я ей по-родственному помогаю!

— Ага! Значит, кулаки даже родственников батрачить на них заставляют! — повернулся к сопровождавшим его «активистам» Серька. — Вот, сами видите, что творят угнетатели трудового народа! Пора раскулачивать!

— Да что вы говорите? — удивился не понимающий происходящего Стёпочка. — Какие кулаки? Марья Никитична сама — первая труженица, и вся семья работает!

— Ври, давай! — повысил голос Серька. — Новый дом тоже «от трудов праведных», а не от «эксплуатации» трудового народа?

— Новый дом сам Григорий Матвейч возводил с братьями своими! Ну, и я помогал!

— Вот! Что я и говорю! — Серька картинно взмахнул рукой в сторону Машиного дома. — Всю родню закабалили изверги! А где сам главный мироед, Гришка-то?

— Он не мироед... — начал было Стёпочка.

— Но, но! Повозражай ещё народной власти! Где он?

— На заработки уехал, подряд по столярному делу в соседней губернии взяли...

— Сбежал, значит, буржуйская морда! Нагрёб добра и сбежал! А баба его где, кулацкая шлюха?

— Она не шлюха! Не смейте её так называть! — негодуяще воскликнул зардевшийся от гнева Стёпочка. — Она с детьми на речке бельё поласкает! Уходите отсюда!

— Уходить, говоришь? Бельё поласкает... — Серька взглянул на Каторгу. — Что-то мне кажется, что мальчонка только языком работать горазд, а топор в руках и держать-то не умеет. Покажи-ка ему, Фролушка, как топориком орудовать надоть!

Фрол молча шагнул к Стёпочке, грубо дёрнул у него из руки топор.

— Учись, козявка!

Взмах топора, короткий хрустящий стук и...

Стёпочка беззвучно, словно из него выдернули стерженёк, осел на колени и рухнул, заливая вытопанную редкую травку двора кровью из пробитой головы.

— Ты, Серька, может, это зря как-то! — усомнился, трезвея один из активистов. — Всё ж начальству может не понравиться...

— Чего?! — повернулся к нему Серька. — Кулацкий прихвостень с топором в руках препятствовал действиям законной власти! Это же вооружённый бунт! Саботаж! Ну, и вынужденная оборона, сам понимаешь.... Или тебе что-то не нравится?

— Сергей Лукич! Как ты сказал, так всё и правильно! Нешто мы без понимания, что «народная власть» завсегда права?! Мы с тобою, как всегда!

— Пошли отседова пока... — Серька поскрёб грязное пузо, задрав подол рубахи. — Опохмелиться пора! Опосля вернёмся!

Стёпочку похоронили за алтарём, сам батюшка Иоанн место выбрал, он же и отпел полным чином «новопреставленного убиенного раба Божия Стефана»...

На отпевании рыдал весь храм — Стёпочку сельчане любили.

А следующей ночью кто-то «пустил красного петушка» в соломенную крышу дома, где спали пьяным сном «активисты» народной власти во главе с Серькой и Каторгой.

Сгорели все.

Наутро после пожара в районную ЧК явилась пахнувшая копотью и керосином заплаканная девица Клавдия Кудрявцева, четырнадцати лет, несостоявшаяся Стёпочкина невеста, и добровольно призналась в поджоге.

Девицу Клавдию расстреляли.

## ГЛАВА 8

— Господи! Прости их всех! Страдальцев и мучителей! — молилась каждый раз, вспоминая те события, мать Селафиила. — Ты Един знаешь пути спасения нашего! Ты Един любовь Свою покрываешь немощи наши и прощаешь грехи! Милостив буди нам, немощным и многогреховным!

Семью Маши всё равно раскулачили приехавшие из района люди с наганами.

Саму её, несмотря на беременность, жестоко избив, волоком вытащили за ворота и, полуживую, бросили в придорожную канаву. Следом за ней, на одеяле, полураздетую, вынесли и сбросили рядом с Машенькой едва живую парализованную Агафью. Полуторагодовалую Сашеньку, выхватив из под рук «иродов»-раскулачивателей, унесла к себе домой её крёстная, двоюродная Машина тётка. Остальные дети сами разбежались со страху и с недоуменным ужасом наблюдали происходящее из окрестных кустов.

Вещи, какие получше, погрузили в подводу и увезли «на нужды трудового народа», какие похуже — изломали и сожгли.

Дом, новенький, своими руками с любовью построенный, раскатали по бревну и так бросили — на устрашение другим сельчанам. Печку сокрушили кувалдами и кайлом.

Лошадь и корову увели в «колхоз», поросёнка зарезали и забрали себе «раскулачиватели», кур и гусей, которые не успели разбежаться, просто перестреляли и побили палками, оставив на съедение воронам и бродячим собакам.

Потом люди с наганами ушли, напоследок сокрушив в щепу и растоптав Машины венчальные иконы Спаса Нерукотворного и Владимирскую Пречистой Богоматери.

Когда Маша очнулась в канаве после ухода разрушителей, она обнаружила рядом с собой плачущую стайку братиков и сестрёнок и остывшее тело Агафьи, уже охватываемое трупным окоченением.

Машенька прислушалась внутрь своей утробы — ребёночек тревожно бился в стенки своей темницы.

— Слава Богу за всё! — с трудом шевеля разбитыми губами произнесла Маша. — Господи! Отжени от меня ропот и сомнение! Господи! Не оставляй нас милостью Своею! Господи! Укрепи меня в испытаниях...

И судорожно зарыдала, обливая слезами каменеющий, становящийся всё более иконописным лик мамы-Агафьи.

Вернувшийся через месяц Григорий Матвеевич нашёл остатки своей семьи живущими в амбаре Сашенькиной крёстной, питающимися, чем Бог пошлёт, но не унывающими в молитве и уповании на Бога.

Он сходил на церковное кладбище, помолился на могилках Агафьи и Стёпочки, а на развалины своего не успевшего толком обжиться семейного гнезда не пошёл.

Воспользовавшись оказией, он отправил Машиных братьев и сестёр к своим дальним родственникам, жившим на богатой солнцем и пшеницей Украине, переправив на их содержание большую часть заработанных в отлучке денег. Предполагалось их забрать из



Малороссии, как только сам он с Машей и Сашенькой обустроится на новом, безопасном для семьи месте жительства.

Отправив днём с подводой идущей на железнодорожную станцию детей в сопровождении направляющейся к тем же родственникам свояченицы, Григорий Матвеевич занял телегу с лошадьё у своего сороботника по столярной артели, бесшабашного весельчака и балагура Тимофея, и той же ночью, уложив тяжёлую на сносях жену с младенцем Александрой в обильно понапиханное в телегу сено, тронул вожжи и навсегда покинул ставшее чужим родное селение.

А на следующий день, к полудню, в оставленное Машиной семьёй село, самое «отсталое» и «неколлективизированное» в районе, приехали два грузовика солдат нерусской внешности с раскосыми глазами и легковой автомобиль с затянутыми в кожаные «ризы» ВЧК-шниками.

И начался погром.

Большого батюшку Иоанна вместе с его полнотелой матушкой, сорвав с них одежду, повесили на языках двух самых больших церковных колоколов и раскачивали их обнажённые тела до тех пор, пока колокола не отозвались погребальным набатом на удары в них кованых языков со страшными, ещё тёплыми подвесками.

Церковь закрыли, вытащив из неё всё, что могло гореть, и, сложив из древних намоленных святынь: икон, престолов, облачений, царских врат иконостасов — гигантский костёр перед церковной папертью.

Пытавшихся препятствовать сожжению святынь нескольких старичков и богомольных старушек пристрелили на месте и кинули в тот же пылающий костёр их мученические останки.

С полсотни наиболее работоспособных и здоровых мужиков вывели под конвоем из села и, доведя до отстоящей от села в полутора вёрстах Селивановской балки, там расстреляли, свалив тела в овраг и не присыпав их ничем. Ещё десятка полтора баб помоложе и троих мальчишек загнали в кузова грузовиков и увезли куда-то. В село они уже больше не вернулись.

В селе окончательно утвердилась власть «большевиков». Люди, сжав кулаки и опустив головы, пошли в колхоз.

## ГЛАВА 9

Всю долгую дорогу до железнодорожной станции на трясущейся телеге, прижав к округлившемуся тяжёлому животу вздрагивающее тельце маленькой Сашеньки, Маша молилась. Всё тяжкое пережитое за последний месяц наложило ей на чело и в уголки рта первые скорбные морщинки, но не смогло поколебать её детски искренней веры, напротив, упование на помощь Божью и Его премудрый промысел только усилились.

— Смотри-ка, Гришенька, — размышляла она вслух, когда на полуночном привале посреди лесной поляны, покормив и уложив спать дочурку, они с Григорием Матвеевичем сидели у костра, прихлёбывая из кружек отвар наскоро собранных тут же неподалёку листьев лесной малины, — вот Стёпочка вступился за нашу семью, за правду, как его совесть повелела, и погиб как истинный герой, как мученичек Божий! Нынче его чистая душенька, наверное, у Христа Господа в светлых обителях утешается...

— Царствия ему Небесного! — вздохнув, перекрестился немногословный Григорий Матвеевич.

— А ведь не забрал бы его сейчас Господь, сколько его чистому сердечку в наше страшное время претерпеть бы довелось! Через годок бы его в армию забрали, и как бы он там со своей, во Христа Господа, верой выживал? Когда вокруг тебя все курят, пьют, развратничают, матерятся да Бога хулами поносят? Ведь не выдержал бы он, вступился бы также за Истину, за Бога, за Царицу Небесную, и также убили бы его изверги-богохульники...

— Богу о нас видней, Маша, — вновь вздохнул смиренный Машин муж, — наверное, так для Степана было лучше...

— А мама Агафья, — продолжала вслух размышлять Маша, — Поленька сестра сказала, что пока я в беспамятстве оглушённая лежала, мама Агафья до последнего вздоха молилась: «Прости их, Господи, — не ведают, что сотворяют! Я их прощаю, Господи, и Ты прости их, несчастных душегубцев, не дай им помереть без покаяния! Меня прости и их прости, Господи!»

Вот так ведь, Гришенька, в «Житиях» праведники умирали! Не милость ли Божья — такую кончину принять?

— Царствия Небесного Агафьюшке подай, Господи! — вновь перекрестился Григорий Матвеевич. — Святая душа!

— Вот и мы сейчас, Гришенька, — не унималась Маша, — хоть и «без кола, без двора», бежим в ночи как некогда Святое Семейство в Египет... А плохо ли нам? Мы вместе, Сашенька здорова, сестры с братишками пристроены, мы любим Господа и друг друга, разве это не милость Господня к нам, недостойным?

— Должно быть, так, Маша, — кивком головы подтвердил муж.

— «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» — взглянув в сверкающее мириадами звёздных бриллиантов ночное небо, из глубины своего любвеобильного сердца прошептала Маша.

Григорий Матвеевич скоро заснул, прислоняясь спиной к колесу телеги, а Маша, сняв с шеи носимые всё время под рубахой крестнины, мать Епифаниины, чётки, привычно начала просить у Бога Его милости, смиренно призывая в ночи Его святое имя:

— Господи! Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя, грешную!

По-летнему ранняя предрассветная зорька застала Машу устраивающейся рядом с доченькою подремать.

Старая схимница открыла полуслепые слезящиеся глаза, тихонько обтёрла нижние морщинистые веки краешком одетого поверх апостольника теплого платка. С крылоса читали кафисмы.

Мать Селафиила любила Псалтирь, знала её наизусть, это выручало её в те периоды жизни, когда не было под рукой ни Евангелия, ни Часослова, ни даже обычного «мирянского» Молитвослова.

Богодухновенные слова Давидовых псалмов дарили всегда её душе мир и утешение, погружали в дивный мир Божественных таинственных пророческих откровений, уже сбывшихся, ещё

ожидаемых или совсем закрытых до времени от пытливого человеческого разума.

Псалтырь несла в себе музыку древности, удивительный ритм и мелодику внутреннего звучания, особенно в церковно-славянском текстовом варианте. Нечто огромное и мощное, независимое от времени и языка, от места и опытности читающего, от прочих всех в других вопросах весьма значимых обстоятельств, подобное всемирному океану, лениво дремлющему и кажущемуся почти «ручным», но вдруг просыпающемуся и являющему свою неизмеримую силу в смывающих целые города цунами, в рождении и гибели вулканов и островов, — таилось в этой необъятной книге, четвёртую тысячу лет служащую боголюбивым людям надёжным «разговорником» с Богом.

А как легко вливается в псалтырь молитва Иисусова!

Нежданном откровением явилась для Марии вдруг обнаруженная возможность внимать Давидовым псалмам, одновременно содержа в уме осознанно творимую молитву Иисусову.

— Скажите, батюшка, я не сошла с ума, мне кажется, я и кафсмы в церкви слушать и молиться Иисусовой молитвой умудряюсь, так разве можно, почему так происходит? — пытала Маша старенького схиигумена Иегудиила, бывшего лаврского монаха, в то время внештатно служившего в небольшом храме на краю города, к которому она стала ходить на исповедь и за советом после того, как они с Григорием Матвеевичем, бежав из разоряемого «коллективизацией» родного края, осели в подмосковном Сергиевом Посаде, сняв в аренду половину маленького дома в трёхстах шагах от тогда уже закрытой Троице-Сергиевой Лавры.

Смиранный старенький монах, согбенный сгорбленной спиной и многими годами подвигов в пещерном сумраке скитского затвора, всех поражал чудесной ясностью ума и блеском отроческих, без малейшей старческой замутнённости, внимательных глубоких карих глаз. Что-то в нём было знакомое, родное, чем-то он необыкновенно походил на первого Машиного духовника, отца Лаврентия! Может быть, каким-то внутренним тихим светом, струящимся во взгляде, а может, мягкостью улыбки, скрывающейся под редкой сединой усов...

— Напротив, детонька, — словно смущаясь своего наставнического достоинства и боясь ненароком задеть духовную неопытность молодой женщины, отвечал батюшка схиигумен, — твой ум только начинает обретать необходимую для правильной духовной жизни упорядоченность!

Наш рассудок устроен наподобие домика с чердачком, в который с комнаты ведёт открытый люк. Живя внизу, хозяин, чтобы не напустить в дом кусачих комаров, завешивает окна марлечкой какой-нибудь и следит, чтоб щёлочки в ней не появилось, не прорвалась бы дырочка какая, чтоб сквозь неё не пролетел комар-кровососатель.

А коль на чердаке окно будет открыто или разбито, или притворено неплотно, то оттуда, невидимо для живущих внизу, враг проникает сперва на чердак, оттуда через люк спускается в сам дом, и — ну покусывать хозяев!

А те и не поймут, откуда напасть! Смотрят на окна комнаты, где живут, — всё плотненько защищено! И невдомёк порою голову поднять и увидеть, как через верхнее пространство враг проникает к ним в жилище!

Так и в головушке твоей есть пространство, можно так сказать, в котором ты живёшь, творишь осознанно молитву, размышляешь о насущном, решения какие-либо принимаешь. А есть «чердак», доступный демонскому проникновению, через него враг в «дом» к тебе забрасывает помыслы греховные, смущения всякие, образы искусительные. В двух помещениях сразу

находиться невозможно, а «люк» между ними удерживать закрытым — немалый опыт и силы духовные нужны. Вот тут Псалтирь и выручает, да и не только Псалтирь, любая служба церковная, чтение, пение в храме Божьем или домашняя совместная молитва.

Творить молитву Иисусову умную отдельно, нерассеянно, со вниманием на каждом слове — труд великий, а для новоначальных, порой, и просто неподъёмный! Равно как и держать внимание на смысле слов молитв читаемых «по книжке» — Молитвослову, Часослову и другим, особенно, когда не сам читаешь, а слушаешь чужое чтение. Чуть отпустил внимание, как — нырк с чердака помысел, а то ещё и благочестивый! Внимание за ним, а он в сторонку, всё в сторонку да от молитвы и увёл!

Глядь — а ты уже и не поймёшь: где был и что ты слышал или сам читал! А шустрый бес на «чердаке» хохочет — обокрал!

Вот потому у нас в обители отцы, которые постарше да посильней в молитве, советуют новоначальным братьям служб церковных общих, молебнов братских и панихид не избегать, пытаюсь их восполнить келейной умной Иисусовой молитвой.

Ту же молитву Иисусову, зело как хорошо творить во время службы — вечерни, утрени, часов, полунощницы...

Лишь одну святую Евхаристию необходимо слушать всем вниманьем, вперив свой ум и чувства все собрав усилием воли в сопереживание и соучастие совершающемуся Великому Таинству!

А в остальном — читает чтец, диакон призывает ектениями сообща молиться, хор поёт песнопенья, а ты, внимая им и как бы заселяя свой «чердачок» молитвой общей, сама в то же время тихонечко в «комнатке» ума взывай ко Господу молитвой Иисусовой, лучше короткой, пятисловной: «Господи! Иисусе Христе! Помилуй мя!».

Посредством такого моления, когда ты и в молитве общей соучаствуешь, и лично к Богу вопиешь, навык молиться нерассеянно, сосредоточиваясь на общении с Господом, придёт быстрее. Молитовка Иисусова к уму привьётся, станет для него привычной и потребной, а там уже и до молитвы непрестанной, сознанием всё время творимой, будет недалеко.

Стяжавшие молитву непрестанную не только что Псалтирь или иную службу могут со вниманьем слушать, при этом непрерывно и умом, и сердцем Имя Иисусово и через Его посредство Самого Христа Спасителя призывая, но даже и мирскими делами занимаясь: хозяйственными, там, семейными — не прерывать общения с Господом умудряются, в Его Божественной Благодати пребывая!

— Ну, батюшка! Куда ж мне до такой молитвы! — вздохнула Маша. — Это, поди, только в монастыре возможно!

— Нет, почему же? — старец глядел в глаза Маше внимательным серьёзным взглядом. — И в монастыре, и в приходском храме, и в семейной общей молитве. Ведь ты же молишься келейно совместно со своим супругом?

— Конечно, батюшка! Когда он дома вечерами и детей уложим, стараемся вечерние молитовки, а когда и канон умильный или Акафист Матушке Божьей, или святым кому-нибудь вместе почитать, — так нам ещё батюшка Лаврентий заповедал! Псалтирь читаем, иногда полунощницу, если времени и сил хватает... Стараемся читать поочередно — супруг одну молитовку, другую я!

— Вот видишь, фундамент у тебя для умного делания есть! Так ты попробуй, как я тебе сейчас рассказал, соединять молитву общую с Иисусовой! Не сразу, конечно, получаться будет, но при старании пойдёт! И ты сама увидишь, каковы будут плоды твоего старанья! А как увидишь, то придёшь и мне расскажешь — ну, «дерзай, дочерь»!

— Благословите, батюшка, стараться...

— Бог благословит! Трудись!

## ГЛАВА 10

Покаянным колокольчиком прозвенел в дышащем жизнью пространстве храма пятидесятый псалом:

«Милостию и щедротами и человеколюбием Единородного Твоего Сына, с Нимже благословен еси, со Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков!» — донёсся из алтаря возглас служащего иеромонаха отца Иосифа.

— Аминь! — слегка нестройно, но в простоте искренно подтвердил по-будничному малочисленный братский хор и, подхватив перезаданный регентом тон, тревожно-собранно запел первый ирмос канона, — «Яко по суху пешествовав Израиль...».

Мать Селафиила, неторопливо внимая действию в себе непрерывного течения Иисусовой молитвы, вдруг ощутила в окружающем её наполненном мягким дыханием благодати духовном пространстве, как бы возникший из неоткуда, некий диссонанс, словно в благоухающем воздухе цветника вдруг потянуло запахом палёной резины с соседней свалки.

— Явились, незваныши, — по-стариковски проворчала себе под нос старая схимница, — всё шлындают, пакостники...

«Пакостниками» мать Селафиила называла бесов.

В первый раз Маша увидела нечисть в 1932 году, когда взяла на себя сугубый молитвенный подвиг, измученная переживаниями за оставшихся в Малороссии братьев и сестер, с которыми внезапно прервалась всякая связь, при том, что слухи об ужасах расплзавшегося по Украине «голодомора», о жестокостях «заград-отрядов», о миллионах умирающих с голоду крестьян, несмотря на всю мощь сталинской пропагандистской машины, всё равно проникали в народ.

Тридцать девять ночей, уложив спать теперь уже троих дочек и дождавшись, когда равномерно задышит у стены младенчески- тихо засыпающий супруг, Маша тихонько выскользнула из-под одеяла с супружеского ложа, на цыпочках выходила в сенцы и, поставив перед собою маленькую икону Нерукотворного Спаса, брала в руки чётки и начинала, кладя земной поклон на каждой молитве, с усилием сердца горячим шёпотом произносить:

— Господи! Иисусе Христе! Сыне Божий! Помилуй и спаси моих братиков и сестрёнок!

Не видел их около десяти лет, зная, что все они выросли и стали намного взрослее, чем были, когда их отправляли на Украину, а старший из них — Тимофей — даже успел жениться, Маша всё равно представляла их себе такими, какими видела их в последний раз, когда устраивала их поудобней в сене на подводе, увозившей их из её жизни, — маленькими, испуганными и родными.

Обычно Маша успевала к рассвету сотворить около тысячи поклонов, в иные ночи и чуть

больше. С рассветом, обессиленная, она падала почти без чувств на стоящие в сенцах узлы с тряпками, чтобы, очнувшись из полузабытья минут через тридцать-сорок, идти в дом на призывный плач всех ранее просыпавшейся младшей доченьки Дарьюшки.

В сороковую ночь, воспользовавшись отъездом Григория Матвеича на два дня по рабочим делам, Маша встала на молитву раньше, возникшее за время подвига сухое измождение тела не мешало горению духа, и молитва в ту ночь текла особенно горячо. Ближе к утру Маша вдруг начала чувствовать, что она в сенцах не одна.

Причём как-то не по-хорошему не одна. Некто своим присутствием явно сбивал её уже настроенный молитвенный ритм, мешая ей сосредоточить силы сердца и ума в горячей искренней мольбе за братьев и сестёр.

Стараясь не сбиваться и не потерять того смиренно-радостного состояния души, что возникало у неё от ощущения «обратной связи», «услышанности», «принимаемости» её молитв, которое появлялось после третьей-четвёртой сотни поклонов и не прекращалось уже до конца её ночного подвига, Маша сосредоточила всё внимание на смысле произносимых слов молитвы.

Однако это ей не помогло.

Мертвящий холодок стал пробираться по спине от кобчика, взбираясь вверх до основания черепа и расползаясь под кожей головы, вздымал торчком волосы. Она впервые в жизни ощутила, как помимо воли её охватывает ужас; слова «мороз по коже» оказались вовсе не прибауткой, а реальностью, которая заставляет невольно трепетать живую душу, парализуя волю и гася рассудок.

Маша почувствовала, что источник сжимающего всё её естество мертвящего ужаса находится где-то слева и сзади и что, если она не обернётся и не встретится с этой вражьей силой «лицом к лицу», то может просто потерять рассудок от безумного страха.

Стиснув в побелевшей от напряжения кисти руки затёртые «намоленные» крестники чётки, Маша усилием всех сил души заставила своё тело подчиниться команде разума и повернуться вместе со взглядом в направление источника зла.

Источник этот своим видом, скорее, удивил молитвенницу, чем усилил в ней ощущение страха. В углу на чемодане, лежащем поверх двух поставленных друг на друга сундуках, сидела обезьяна. Точнее сказать, существо, своим внешним видом из всех живых существ, известных Маше, более всех напоминавшее именно мартышку, сутулую, мохнатую свалывшейся и грязной шерстью, с облезлыми локтями и коленями кривых и узловатых конечностей.

Одна лишь безумная злоба, горящая в близко посаженных друг к другу в глубине чёрных глазниц жёлтых глазах, выдавала в этом создании существо, явно не принадлежащее к земному миру животных. К тому же на голове сей твари была криво одета какая-то обшарпанная, помятая местами, словно на театральной помойке подобранная, царская корона. От этой гадкой образины почти видимым образом текли к Маше струи леденящего душу страха и омерзения.

Существо пошевелилось и, прожигая Машу полным ненависти взглядом, скорчило гримасу.

— Я Царь Земной, поклонись мне! — потребовало существо. Ни звука не прозвучало в ночной тишине, слова мерзкой образины, словно невидимые волны, проникли сквозь пространство земного мира и достигли сознания Маши.

— Нет! Лучше умру! — смогла лишь мысленно ответить Маша.

— Умрёшь мучительно и страшно, и душа твоя попадёт в мою полную власть! Лучше поклонись мне сейчас, чтобы мне не предавать тебя потом мучениям за отказ воздать мне законные почести!

— Ты не царь, ты лжёшь! — снова мысленно ответила Маша.

— Я не просто царь, я царь всего видимого и невидимого мира! — осклабилось крошащимися страшными зубами существо. — У меня твои братья и сёстры, они поклонились мне и признали моё царство. Ты хочешь их увидеть?

— Хочу! — вздрогнула от неожиданности Маша.

— Тогда поклонись мне, и я дам тебе увидеться с ними!

— Не отвечай, молись, с ним нельзя разговаривать! — вдруг кто-то тихо прошептал ей в правое ухо, овеяв щёку нежным теплом.

Маша словно проснулась. В мгновение ока она вдруг поняла, что происходит с ней и кто с ней говорит. Ведь сколько раз она читала о подобном в «Житиях» и других духовных книгах!

Однако реальность потустороннего бытия так неожиданно и страшно обрушилась на молодую подвижницу, что она даже и подумать не успела о том, что с ней может происходить такое же, как то, о чём она читала....

— Спасибо! — первое, что она смогла ответить, скорее, механически, чем осознанно, обратившись в сторону источника пришедшего к ней вразумления.

— Отче наш! Иже еси на Небесех! — переламывая в себе парализованное страхом естество, начала Маша. — Да святится Имя Твое! Да придет Царствие Твое!

— Перестань! — раздался в её мозгу остервенелый визг «обезьяны». — Иначе ты никогда не увидишь братьев и сестёр! Они мертвы! Они у меня! Я их хозяин навечно!

— Да будет воля Твоя яко на Небеси и на земли! — всё увереннее продолжала Маша. Её душа и тело словно стали оттаивать, согреваясь в теплоте молитвы. — Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим!

— Одумайся! Прекрати! — всё тише и слабее верещало мерзкое создание. — Я дам тебе увидеть братьев и сестёр прямо сейчас!

— И, не введи нас во искушение, — уже совсем уверенно и твёрдо закончила Господню молитву Маша, осеняя себя крестным знамением согревшейся и освободившейся от дьявольского паралича рукой, — но избави нас от лукавого!

— Будь прокля... — донесся последний обрывок вопля демона, словно тающая струйка мороза в закрывающейся форточке, и... всё! «Окно из преисподней» закрылось!

Изнеможенная Маша только успела благодарно прошептать, сползая без сил в стоящие у стены узлы с тряпьем:

— Слава Тебе, Господи, слава Тебе за всё...

На следующий день, в субботу, упросив соседку присмотреть за малышами, Маша отправилась в церковь к батюшке Иегудиилу, который, как обычно по субботам, исповедовал перед поздней литургией в левом приделе небольшого окраинного храма, дорога к которому проходила мимо закрытой Троице-Сергиевой Лавры.

Когда она, поднявшись от своей улицы и завернув за Утичью башню, вышла на прямую дорожку, идущую вдоль лаврской стены к монастырским Святым Вратам, от самой башни с нею увязался блаженный Пашенька, известный всему Посаду, Христа ради юродивый, по виду — дурачок, с телом взрослого человека, но с маленькими и кривыми ножками и ручками. Лицо его всегда сияло радостной улыбкой, он вечно напевал и приговаривал какие-то стишки да прибаутки.

Его и так непропорционально большое относительно конечностей туловище было круглый год укутано, подобно кочану капусты, множеством одежек самого невообразимого вида, скрывавших, как оказалось потом, обмотанные вокруг торса и плечей железные цепи весом более сорока килограммов.

Никто бы и предположить не смог, видя, как легко пританцовывает Пашенька, хлопая в малюсенькие ладошки и напевая что-то не сразу понимаемое, что его кривые ножки несут на себе, кроме веса самого туловища, ещё и тяжкий груз вериг, ближайшими к телу витками вросших в его больную плоть.

Только когда он тихо умер в 1936-м году, присев в углу церкви после причастия на праздник «летнего» Сергия Преподобного, двое мужчин попробовали приподнять останки коротышки и не смогли. Выносить Пашеньку из храма пришлось четверым дюжим мужикам.

Пашенька припрыгивал рядом с Машей на своих кривых ножульках и, заглядывая ей в лицо, радостно распевал:

- Машка-монашка кашку варила!
- Кашку варила, деточек кормила!
- Тимочку кормила!
- Анечку кормила!
- Глашеньку кормила!
- Васеньку кормила!
- Сонечку кормила!
- И карапуза Мишку тоже накормила!
- Все они наелись!
- В Раюшке расселись!

Внезапно Маша остановилась как вкопанная, она вдруг поняла: блаженный Пашенька перечислял по именам всех её братьев и сестёр, причём в порядке старшинства!

- Пашенька! — ахнула она. — Что с моими братьями и сестрёнками? Они живы?



— Живы они, живы!

— Все у Бога живы! — Продолжал припрыгивать, распевая, блаженный.

— В Раюшке у Бога!

— Всем туда дорога!

И вдруг он остановился в своём пританцовывании, лицо его потеряло обычное выражение беспечности, светлые серые глаза строго уставились на Машу.

— А ты, Машка-монашка, не дерзай больше без благословения так молиться, а то и взаправду князя бесовского увидишь вместо той макаки облезлой...

И резко развернувшись, побежал, смешно ковыляя на кривеньких ножках, голоса своё:

— Машка-монашка, кашку варила...

Батюшка схиигумен долго и сокрушённо кивал головой, слушая Машин рассказ о приключившемся ночью явлении.

— Детонька, детонька! Разве же можно на себя самовольно такие подвиги брать! Без совета с отцом духовным, без святого благословения! Милость Божья да Ангел Хранитель твой тебя в этот раз от гибели уберегли! Но на будущее тебе урок — всякое дерзновение должно иметь благословение! И соответствовать твоему духовному росточку! А то — «от горшка два вершка», — а вздумала богатырям-подвижникам подражать!

Ни-ни-ни, детонька! — он строго помахал высохшим перстом перед глазами Маши. — Забудь слово «сама»! В духовной жизни главное — святое послушание в любви, особенно для таких, как ты, — новоначальных! Один поклончик к правилу от духовного отца благословлённому прибавить захотела — беги к нему за разрешением! Придёт время, поймёшь, почему так надо, сама благословлять будешь...

А пока — коли даёт тебе Господь наставников — держись за них, слушайся, и Бога благодари!

— Батюшка! А то, что Пашенька блаженный сказал — правда? Мои братики и сестрёнки в Раюшке у Бога, они умерли?

— Не знаю! Время придёт — Господь откроет! Ты сделала для них всё, что могла.

Через неделю приехала чудом пробравшаяся по лесным чащобам мимо заградительных заслонов с пулемётами односельчанка родственников Григория Матвейча, у которых жили Машенькины братья и сёстры. Она подтвердила — умерли все: и дети, и приютившая их родня. За исключением её самой и двух спасшихся с нею односельчан, вымерло всё село.

— Наши хорошо умирали, — рассказывала она, — с молитвою отходили, смиренно! В других сёлах, бывало, и людей умерших кушали, и с ума сходили, а всё одно — умерли! Царствия им всем Небесного!

## ГЛАВА 11

Мать Селафила напрягла свой мысленный духовный взор, усилила молитвенный поток из сердца.

Так! Вот они, «пакостники», мелкие крысо-свино-подобные плотские бесы, под крылос забираются, певчую братию похотными помыслами смущать!

Старая схимница оперлась на свою оструганную ореховую палочку и начала тихонько, бочком, шаркающими шажочками перемещаться в сторону крылоса, стараясь не привлечь к себе внимания немногочисленных молящихся.

Однако этого не получилось — к ней тихо подошёл инок Георгий, высокий, смуглый с чёрною, как смоль, густоющей бородой от самых глаз.

— Матушка! Благослови тебя немножко поддержать, — шепнул Георгий схимонахине, бережно подхватывая её руку под локоток, — тебе куда пройти надо, матушка?

— Спаси Христос, Георгиюшка! — мать Селафиила оперлась на крепкую жилистую руку инок. — Ты меня к крылосочку подведи с той стороны, где лавочка! Канон послушать хочется, а гложу, видно, — здесь почти не слышу тропариков-то!

— Пойдём, пойдём, матушка! Осторожненько, сейчас об коврик не споткнись, он здесь задрался малость...

Подойдя к крылосу, схимница вновь напрягла внимание, сосредоточенно усилив действие молитвы. Духовным зрением она опять увидела крысиное мельтешение под крылосом блудных бесов, встревоженных приближением благодатной старицы и торопящихся успеть смутить хоть кого-либо из певчих страстными похотливыми образами, забросить хоть кому-нибудь в ум, словно гранату в окно, оскверняющий душу блудливый помысел.

— Господи, Милосердне! Не погнушайся недостойной молитвы моей! Господи! Пощади создание Твое! Господи, отжени от нас вся действия диавола, Господи, изгони от нас лукавых демонов, стужающих созданию Твоему! Господи! Непусти нечистым духовом смущать пришедших во обитель святую сию, принесших души свои как жертву искренней любви своей к Тебе, Владыке и Господу нашему! Господи! Защити братию обители сея от скверного насилия дьявольского! Прогони и разори от нас все лукавые ухищрения падших демонов, направленные на погибель душ христианских! Господи! Даруй нам всеильную благодать Твою во оружие на супостатов наших!

— Брысь, мерзкие! Не трогать мальчиков моих! — сосредоточив всю силу благодатной молитвы в этот категоричный, обжигающий демонов приказ, мысленно изрекла схимница. — Именем Господа Иисуса Христа, Крестом его Честным заклинаю: вон отсюда, из места святого! Вон, нечистые духи, из храма Божьего, не смей смущать немощную братию сию!

Палимые благодатной силой старческой молитвы бесы задвигались, заметались, словно крысы, под полом крылоса, ринулись вон, не выдерживая силы благодати, исходящей от смиренной старицы. Бессильные в своей лютой ненависти некоторые кинулись кусать её больные старые ноги. Сквозь застиранные, штопанные-перештопанные хлопчатобумажные чулки на ногах старицы проступили капли крови.

— Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Яко не отринул мя, грешную, и услышал молитву мою! Слава Тебе за всеильную благодать и помощь Твою! Не остави нас и впредь милостию Твоею, но заступи, помилуй и спаси рабов Твоих!

Бесы исчезли. Под крылосом воцарилась тишина.

— Что-то матушка сегодня часто перетоптывается? — взглянув на старицу, сказал один из

певчих другому. — Обычно стоит, как свеча, неподвижно!

— Наверное, камушек в ботинок попал, — предположил другой, — что ж поделаешь, старый человек, чувствительный...

Мать Селафиила улыбнулась, она вспомнила, какие страхования от демонов ей доводилось претерпеть в период, когда она под руководством старого схиигумена, батюшки Иегудиила, начала обучаться молитве умной Иисусовой, «созерцательной», теперь уже по благословению проводя большую часть ночи в разговоре с Богом.

Ночи, прежде делимые ей с супругом, теперь принадлежали ей одной.

Бригада, в которой трудился на маленькой мебельной фабричке Григорий Матвеевич, получила срочный и почётный заказ — за сутки сделать гроб почившему от инсульта первому председателю «горкома партии». Задание, понятное дело, не только почетное, но и ответственнейшее: чай, не простому смертному сосновый ящик сколотить! А посему доверена эта работа была лучшим мастерам: Григорию Матвеевичу, Ивану Трофимовичу, Михаилу Лукьянычу и их бригадиру Максиму Евстигнейчу.

Трудились день и ночь. К семи утра на освобождённом от бумаг и канцелярских принадлежностей столе директора фабрики, в самом его кабинете, стоял шедевр гробового зодчества.

Изящные линии контура, резные детали отделки, зеркальная полировка благородного цвета быстросохнущего лака, бронзовые ручки и застёжки — класс выше высшего, иначе не назовёшь!

Принимавший работу первый заместитель покойника, задёрганный внезапными хлопотами, с траурной повязкой на рукаве дорогого пальто, несмотря на невыспанность и нетрезвость, работу оценил.

— Хорош красавец! Экая домовина Якову Семёнычу досталась! В такую и обкомовскому председателю лечь не стыдно! Молодцы! Всем кто делал — премию!

Директор фабрики расцвёл. Расцвёл и бригадир, Максим Евстигнейч.

— Рады стараться для партии и народа, — слегка напыщенно произнёс он, вытягиваясь в струнку перед начальством, — мы, если надо, то такой гробешник замастрячим, что в него и самого товарища Сталина не стыдно будет положить!

Зампред горкома поперхнувшись, закашлялся, директор фабрики побелел как полотно, столяры от усталости ничего не поняли. А вечером их всех забрали. И директора, и бригадира, и столяров.

Сшитое на живую нитку «Дело о террористической диверсионной группе, имевшей целью уничтожение лично тов. Сталина», в общем-то, в принципе, ничем не отличалось от многих тысяч других подобных дел. Директора фабрики расстреляли сразу по приговору, остальные получили по «десять лет без права переписки», что, как стало известно много лет спустя, в те годы тоже означало расстрел.

Когда Григория Матвеевича забирали из перевёрнутого вверх дном после обыска дома, он успел спросить растерянную, перепуганную Машу, глядя ей в глаза:

— Машенька! Скажи: я был тебе хорошим супругом?

— Самым лучшим! — искренне выдохнула Маша.

— Молись обо мне...

Григория Матвеевича увели.

У Марии Никитичны началась другая жизнь.

## ГЛАВА 12

Канон закончился, пропели последнюю «катавасию», отец Антонин произнёс ектению. Пропев «светилен», певчие начали стихиры «на хвалитех»:

— Всякое дыхание да хвалит Господа!..

Старая схимница, осенив себя крестным знамением, положила земной поклон. Она всегда так делала, когда могла поклониться, не мешая другим молящимся, не вводя никого во искушение. К земным поклонам, как к неперемennomу атрибуту монашеской жизни, её приучал схиигумен Иегудиил.

— Ты, Мария, должна запомнить, что для монаха земной поклон как вдох и выдох, без которого кислород в лёгкие не поступит, как сжатие и разжатие сердца, выталкивающее кровь в сосуды, без которого у тела жизни нет! Так и в душе монаха без земных поклонов, без утруждения ими тела того движения благодати, которое, особенно у новоначальных, для настоящей духовной жизни необходимо, даже начаться как следует не сможет!

— Так, батюшка, то — для монахов! А я — мирская баба с тремя дитёнками на руках, «жена врага народа» — что проку мне теперь о монашестве мечтать! Хоть как-то поисправнее бы жизнь христианскую проводить, Евангельские Заповеди исполнять, а моё монашество, видать, мимо меня прошло! Такова уж, верно, Божья воля...

— Ты ошибаешься, Мария, — улыбнулся старый схиигумен, — твоё монашество сейчас только начинается! И воля Божья — быть тебе монахом — давно понятна и не изменялась! Ведь ты с младенчества монашества желала?

— Желала, батюшка...

— О монашестве Господа просила?

— Просила, батюшка...

— Ну вот — период «трудничества» твоего закончен! Пора «послушницей» становиться!

— Отче! — удивлённо подняла взор на старца Мария. — Вы меня в обитель благословляете? А как же детки мои? Разве в монастырь с детками приходят?

— Чадушка! — голос духовника был по-родительски тёплым, — да разве же я сказал про монастырь? Их и осталось-то незакрытыми всего ничего, и те, поди, скоро закроют! Да и монастырей таких, куда бы я тебя благословил бы с чистой совестью, зная, что ты там будешь духовно возрастая, пожалуй, нынче и не назову...

— А как же стать «послушницей» в миру? — недоуменно спросила Мария отца схиигумена. —

Разве в миру монахами становятся?

— Сама посмотришь! — улыбнулся отец Иегудиил. — Монашество и жизнь в монастыре, как это не звучит парадоксально, но не всегда одно и то же! Немало есть людей, жизнь проживших в монастырских стенах, сподобившихся пострига, которые не только не стали монахами, но даже узнать не сподобились, что такое — монашество! Напротив, есть и были подвижники не меньше древних, которые в миру несли свой подвиг, да и сейчас несут.

— Батюшка! Всё моё детство и юность были связаны с монастырём, где крёстная моя была монахиней! И я туда придти должна была, уже всё было решено, но Господь по-другому судил...

Поэтому я и монашество себе представляю лишь по прежнему опыту моей жизни в монастыре — монашеские службы в храме, послушания, келейные правила, общее житие.... Но если это не главное, то в чём же тогда суть и смысл монашеской жизни? Ведь я и сейчас, за ваше святое благословение, имею и стараюсь выполнять молитвенное правило большее, чем обычно мирянкам благословляют! Что же ещё может измениться в моей жизни?

— Запомни, чадо! Монашество есть сокровенная жизнь души с Богом и в Боге, совершаемая особым, от мирян отличающимся, способом! Эта жизнь требует отдания всего себя Христу, служения ему каждым вздохом, каждым ударом сердца!

Цель этой жизни — теснейшее с Христом соединение в Его любви, «обожение» человека в той форме, что мирянам недоступна. Хотя, порой, среди мирян бывают христиане в духовном совершенстве монахов многих превосшедшие, однако путь стяжания мирянами Христа другой, нежели монашеский.

Монашество — не постриг, не одежды, но — подвиг внутренний в соединении ума, души и тела! Но, впрочем, сейчас тебе не объяснишь того, что постигается лишь опытом практической монашеской жизни. Ты хоть что-нибудь поняла из того, что я тебе сейчас сказал?

— Кажется, поняла, отче.... Или, скорее, почувствовала, — задумчиво ответила Мария.

— Тогда скажи, сейчас, перед Святым Евангелием и Святым Крестом Христовым, — старец указал на лежавшие на исповедальном аналое Крест и Евангелие, — ты хочешь жития монашеского, хочешь стать монахом — воином Христовым?

— Да, батюшка, хочу! Не я сейчас отвечаю, не знаю, как это сказать, это моё сердце сейчас вам отвечает: «Да! Я хочу стать монахом!».

— Христос услышал твои слова, я свидетель перед Ним в исповедании твоего желания. Теперь ответь ещё на один вопрос: ты доверяешь мне как руководителю на пути монашеского жития? Не торопись с ответом! Или душа твоя тянется найти другого духовника?

— Ей, отче! Я вам всецело доверяю, как доверяла своему батюшке Лаврентию, который к вам меня направил!

— Готова ли ты принять на себя обязанность святого послушания мне как своему духовному руководителю и свято следовать моим наставлениям и указаниям в монашеском житии?

— Готова, отче, как и прежде!

— Встань на колени, деточка, перед аналоем и молись, чтобы Сам Господь умудрил мою

немошь вести тебя по монашескому пути с пользой духовной и в стяжание тобою духовного совершенства!

Мария встала на колени. Старый схиигумен покрыл её голову епитрахилью и долго шёпотом молился о чём-то, Марией не услышанном, но сердцем понимаемом.

Когда она встала с колен, она была уже не та Мария, что встала на колени несколько времени назад.

Старец смотрел на неё с любовью и состраданием.

— Я верю в тебя, Машенька, в тебе есть монах, ты «от рода нашего»...

— Благословите отче на святое послушание! — Мария приклонила голову, подставив под благословение свои натруженные ладони.

— Благодать Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на рабе Божьей послушнице Марии! — широким крестом благословляя, произнёс старец. — Христос посреди нас!

— И есть, и будет! — ответила послушница Мария и поцеловала старческую десницу.

### ГЛАВА 13

— «Преблагословенна еси Богородице Дево! Воплотившимся из тебя ад пленился»... — медленно с умилением сердечным запел братский хор.

Мать Селафиила встала на распухшие от многолетней суставной болезни колени, тихонько охнув от стрельнувшей острой боли, но тут же запретив себе подключаться на любые ощущения, кроме молитвы.

Эта чудная песнь Пресвятой Богородице, особенно в исполнении её монашеским хором, всегда глубоко трогала старую схимонахиню в её многоболезненном сердце. Она вспоминала, как пели её сестры в крёстниной обители, как удивительно звучал в этом песнопении Лаврский братский хор незадолго до закрытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры коммунистами-богоборцами, как просто и умильно исполняла она сама эту стихиру вдвоём с монахиней Августой в период своего послушничества...

— Батюшка! Что мне делать? — вопрошала послушница Мария своего старенького духовника. — Меня гонят с квартиры! С того времени, как арестовали Григория Матвеевича, меня с детьми уже с третьего жилья выгоняют. Вроде бы и хозяева у меня в этот раз хорошие, даже верующие, но вчера к ним участковый приходил, сказал, что если они не хотят неприятностей, они должны выгнать «жену врага народа»! Они ради деток моих согласились ещё два дня подождать, чтоб я нашла себе жильё, чай зима всё-таки, но не больше!

И ещё — из посудомоек меня в вокзальном буфете тоже выгнали «за неблагонадёжность»! Пока на полставки оставили уборщицей туалеты мыть, но предупредили, что и это не надолго! Я понимаю, батюшка, что эти малые скорбишки надо ради Господа потерпеть, и не ропщу нисколечко, только вот не пойму, как мне дальше свою жизнь в быту строить: где жить, какой работой деток кормить да одевать?

Отец схиигумен задумался, ритмично перебирая узелки чёток. Замолкла и послушница Мария.

— Так, деточка! Возможно, есть решение, которое сразу «двух зайчиков подстрелит»! Сейчас я

напишу тебе адресок, это недалеко, на северном конце Посада, там проживает в своём домике одна монахиня, мать Августа, из давних чад моих духовных. Она швея-надомница, шьёт для госартели что-то там мирское, не то пододеяльники, не то что-то подобное. И потихоньку батюшек и монахов «чёрным» и «цветным» облаченницей обшивает.

— Что значит «чёрное» и «цветное», батюшка? Простите, не поняла!

— «Чёрное», детонька, это одежды: рясы, подрясники, скуфьи, апостольники, а «цветное» — богослужебные облачения: фелони, епитрахили, индитии на престолы и прочее. Мать Августа — швея опытная, её многие знают и церковное шитьё заказывают ей. Она позавчера была у меня, просила ей помощницу подобрать, желательно монашечку, чтобы с мирским шитьём к сроку управляться, а то в швейной артели, где она надомницей оформлена, очень к плану придиричивы. А если она будет много времени на артельные заказы тратить, то на церковное шитьё уже ни сил, ни времени не будет, ей ведь ещё все правила монашеские надо исполнять неопустительно.

Жила у неё девушка из Сибири около полугода, всем хороша была, молились вместе, помогала, но месяца два как уехала на родину выправить документы какие-то, да и пропала — нет «ни слуху ни духу» от неё...

Сходи-ка к матери Августе, скажи, что я прислал, всё расскажи ей про себя, что непонятно будет — пусть ко мне придет, и я ей растолкую! Быть может, вы и нужны окажетесь друг другу, ты ей с шитьём поможешь, а она тебе с дитёнками: она ведь до монашества в школе учительницей математики была! Коли договоритесь, приходите вместе за благословеньем на совместное житьё!

Послушница Мария ходила к матери Августе, та приняла её сперва опасливо, настороженно, но к чаю пригласила. Потом далеко за полночь всё разговаривали, вместе плакали, потом молились вместе.

А наутро, после ранней литургии, отец Иегудиил уже преподавал им благословенье и уточнял молитвенное правило с учётом будущего «общежития». Так послушница Мария стала «келейницей» монахини Августы.

Милостью Божьей, совместное их житие заладилось. Монахиня Августа вместо одной помощницы получила целых четыре. Шестнадцатилетняя Саша и четырнадцатилетняя Василиса в свободное от учёбы время всю строчили на стареньком ножном «Зингере» артельные наволочки и пододеяльники, успевая делать недельный план хозяйки за три-четыре дня. Даже одиннадцатилетняя Анечка усердно сметывала будущее постельное бельё после раскроя.

Сама мать Августа теперь занималась только церковным шитьём, заказы на которое благодаря качеству её работы, несмотря на постоянно уменьшающееся число заказчиков из-за закрытия церкви и истребления священников и монахов безбожной властью, всё ещё поступали к ней в таком количестве, которое давало возможность относительно безбедно перебиваться едой для всего «девишника», как называла она сама их женскую обитель. Одежду себе тоже шили сами.

Послушница Мария взяла на себя весь быт монашеско-девической общинки: мыла, готовила, стирала, ходила за продуктами, стояла в карточных очередях, порой, по многу часов выстаивая в них, чтобы отоварить мать Августины рабочие карточки на мыло, соль или подсолнечное масло. День пролетал как миг.

Зато когда день завершался и Мариины дочери, прочитав свои недолгие вечерние молитовки,

укладывались спать, в задней светёлке маленького домика на окраине Сергиева Посада начиналась другая жизнь.

Сперва «по книжкам» читались вечерня, малое повечерие с вечерними молитвами и полунощница. Читали попеременно мать Августа и послушница Мария, зажегши свечку перед святыми образами и покадив немного ладном из старой медной кацеи.

Мать Августа, имевшая опыт клиросного чтения и пения в одном в ту пору уже взорванном «борцами за светлое будущее» древнем храме, учила начинающую обучение премудростям монашеской жизни послушницу, как правильно читать, как составлять по книгам службу, как служить «обедницу» по «безпоповскому чину», учила петь вполголоса по «гласам» и по нотам, держать дыхание, не давить на связки и прочим маленьким, но столь необходимым в практике богослужения наукам. Как пригодился теперь Марии её детский опыт пения в монастыре!

Совместная молитва длилась чуть больше двух часов. Затем мать Августа оставалось в той же «моленной» комнатке, где совершалось только что совместное моление, а послушница Мария переходила в маленькую «боковушку», за спальней девочек, где были только полка с иконами, крохотная тумбочка с лампадкой и крепкий «дореволюционный» стул.

Разойдясь «по кельям», монахиня с послушницей брались за чётки и каждая своё, какое ей было благословлено духовником, молитвенное правило творили в одиноком предстоянии пред Богом: то на ногах, то на коленях, то сидя на стульчике или опершись на него руками — по силам и усердию.

## ГЛАВА 14

— Название «монах» от слова «монос»- один, — учил послушницу Марию батюшка Иегудиил, — молитва храмовая, особенно за литургией, нужна как хлеб равно монаху и мирянам.

Молитва непрестанная, творимая христианином на всяком месте и за всяким делом, тоже важна и необходима, такую молитву ещё называют «оградительной», так как творящий Иисусову молитву постоянно призыванием Имени Божьего привлекает к себе Божественную благодать Святого Духа, ограждающую его ум и чувства от бесовских приражений.

И если мирянин, читая правила, благословлённые мирянам по «Молитвослову», посещая храм и Заповеди Божьи соблюдая, участвуя молитвенно в богослужениях, возможно чаще прибегая к Таинствам Покаяния и Причащения, к тому ещё приучит себя непрестанно призывать святое Имя Божье и через это с Богом быть в общении, насколько возможно — постоянном, то жизнь его, с учётом всех мирских забот, скорбей и дел необходимых, будет протекать весьма спасительным для него образом. Но это только для мирян!

Взыскующий же пути к Богу совершенного, избравший монашество как средство достижения этого совершенства, не может удовлетворяться тем объёмом и формой молитвенного общения с Богом, которого достаточно для мирянина.

Монах невозможен без молитвы «созерцательной»!

— Батюшка! — спросила схиигумена послушница Мария. — А почему она так называется? Что должен созерцать монах в этой молитве?

— На разных, деточка, ступенях — разное! На первых ступенях начнёт он созерцать лишь самоё себя, своей души мрак, пустоту, страстей клубок, своё несовершенство! А далее, если он будет мужественно в сей молитве подвизаться, постом, терпением, телесным и душевным



воздержаньем молитву укрепляя и питая, то сможет созерцать такую высоту, о которой тебе сейчас лучше и не думать даже!

Вспомним лишь Святого Апостола Павла, который третье Небо созерцал! И слышал неизреченные глаголы Божьи!

Господь нас всех к тому же призывает, говоря:

— «Ревнуйте дарований больших»!

Святые мир духовный созерцали, живя ещё телесно, и Ангелов Божьих, и действия Силы Божественной благодати...

Тебе же, детонька, сейчас надо научиться внимать себе, видеть саму себя в своём истинном духовном состоянии и свои грехи, препятствующие твоему с Богом общению. Этому мы с тобой и посвятим нашу теперешнюю работу по обучению созерцательной молитве!

— Батюшка! Я пытаюсь увидеть свои грехи, как вы говорите, и что-то вижу! Стараюсь, по вашему совету, в этом сразу каяться перед Богом и просить прощения, а затем на исповеди всё вам исповедовать. Но чувствую, что есть во мне намного больше нехорошего, чем я могу в себе увидеть и понять.

Вот только спрятано оно всё где-то в душе так, что от моего внутреннего взора ускользает! И чувствую эту нечистоту, и хочу от неё избавиться, и не могу найти — в чём она!

— Не только ты, никто не может даже самого себя как следует увидеть и познать, если не откроет человеку его душу божественная благодать! Вот тараканы — спрячутся по щелям и там сидят. А брызни в эти щели купоросом — и вот они повылезали и бегают, ищут нового убежища!

Также и страсти! Рассядутся по уголкам души и «усиков не кажут», только жизнь человека потихоньку отравляют. Но начинает человек молиться, от сердца обращаясь к Богу, и по молитве искренней, сердечной, приходит в душу человека благодать Святого Духа, которая, всю душу освящая, зловредных «тараканов» начинает, как огнём, палить! Они метаться начинают, наружу лезут и тем себя обнаруживают. А обнаруженный враг — уже наполовину побеждён!

Ты и проси у Господа, чтоб Он Сам тебе открыл твои духовные недуги, открыв же — Сам их благодатию Своей врачевал! Бог хочет видеть тебя духовно здоровой и счастливой, Он же — Отец, а мы все чада Его неразумные, недаром Сам Христос, когда Его ученики просили научить их молиться, дал им молитву «Отче наш», то есть обозначил, что наши с Богом отношения, есть отношения детей и их Отца!

Который есть Любовь!

И по любви Своей к нам, детям непослушным, не только что Себя отдал на страшные Крестные страдания, но и поныне Своим Божественным чудным Промыслом для каждого его спасение творит!

Нам надо научиться не мешать Отцу вести нас в вечное блаженство! Быть как послушное дитя, которое отца берёт за ручку и, полностью ему доверившись, идёт с ним рядышком спокойно, не вырываясь побежать куда-нибудь по лужам или собаку злую подразнить, которая и тяпнуть может неосторожное дитя!

Отец всегда послушного дитёнка с любовью проведёт мимо любой опасности и от неправильного шага защитит, поддержит, если чадо, споткнувшись, станет падать, лишь бы дитя, вцепившись крепко, не выпускало из своей ладони отцовскую сильную руку!

Когда же чадо, исполнившись самонадеянности, кричит «я сам!», и, вырвав руку из отцовской ладони, бежит, куда его несёт дух свободы ложной, то тут уже все лужи, ямы, синяки и шишки, укусы злых собак и прочие неприятности такой ребёнок соберёт вполне. Дай Бог, чтобы, набивши шишек, он вспомнил, что Отец стоит и ждёт, когда дитя, нахлебавшись своеволия со всеми из него вытекающими страданиями, про «Папу» вспомнит и кинется в его объятия!

Да, собственно, Господь Иисус Христос Сам об этом в притче о блудном сыне говорит.

А для монаха, вступившего уже не на «брусчатку мостовой», а на «зыбкий лёд» духовной брани, тем более смертельно опасно самомнение, надежда на свой ум и свои силы. Монаху надо, уцепившись за руку Божью, шажками осторожными идти по вешкам, которые прошедшие впереди него за два тысячелетия Отцы и Матери Святые для него расставили! Их опыт как в Святом Предании, в Святоотеческих твореньях, так и в изустном опыте наставников духовных передаётся ученикам усердным, ищущим наставления и помощи.

Ведь почему сейчас всё меньше становится не только старцев и стариц духоносных, но даже просто опытных духовников?

Послушников всё меньше, способных, отречься от самости и внимая опыту наставников, благословениям духовников, смиренно следовать, выращивая терпеливо плоды духовного труда!

А нет учеников, то, как и в школе, учитель в класс пустой и не придёт! Поэтому сейчас пустеют «классы» великой школы монашества. Всё более одни одежды монахов отличают от мирян! Нам, старым инокам, взирать на это скорбно...

## ГЛАВА 15

— Батюшка! — вдруг встрепенулась послушница Мария. — А вы как.... Ой! простите, — она, устыдившись, закрыла лицо руками, — простите, я совсем стыд потеряла!

— Как стал монахом? — улыбнулся схиигумен. — Господь призвал... — он, словно задумавшись, склонил голову и несколько минут, не открывая глаз, перебирал старческими пальцами узелки затёртых чёток. Затем, словно получив какой-то ожидавшийся им ответ, поднял седую голову, открыл глаза и снова улыбнулся, — что ж, расскажу!

— Простите, батюшка, я не должна была такого спрашивать, простите! — всё бормотала Мария, не отрывая рук от лица.

— Наверное, не без воли Божьей ты спросила, — старец ласково, по-отечески, коснулся ладонью Марииной, склонённой в покаянии макушки в стареньком платочке — а, значит, слушай, чадо!

Я местный, посадский, здесь родился, был сподоблен Святого Крещения с именем Иоанна, матушкой с детства водим был на богослужения и к Святому Причастию в Святую Лавру преподобного батюшки Сергия Радонежского.

С детства я был хроменьким, болезненным и некрасивым, шансов понравиться какой-нибудь приличной девушке у меня не было совсем. И лет с шестнадцати я начал думать о монашеской

жизни, тем более что вырос я при Лавре и монахов с детства уважал и почитал.

Но были у меня ещё сомнения, да и свойственные юности движения души, к любви земной стремящейся, во мне также имели место быть. Словом, годам к девятнадцати я был ещё в неопределённости своего жизненного пути.

И как-то раз, когда я по болезни не смог пойти на воскресную литургию в Лавру, моя драгоценная маменька, весьма благочестивая и смиренная, пошла туда одна, неся на ручках годовалого братишку.

И вот, когда пришло ей время возвращаться, её всё нет! Я начал волноваться, даже встал со своего одра болезни и уже оделся, чтобы отправиться на поиски мамы. Но, слава Богу, ключ в двери защёлкал и входит мамочка моя, а с нею девушка, весьма миловидная, лет восемнадцати, и на руках держит моего братишку!

Как оказалось, на выходе из Лавры мамочка моя поскользнулась и, едва не упав, подвернула ногу. А Лидочка, так звали девушку, увидев мамины страдания, ей вызвалась помочь и донести тяжёлого бутуза до нашего жилища.

Потом недели через две она опять пришла к нам в дом, не помню уж по какой надобности, и вскоре стала появляться регулярно, чем-нибудь полезным мамочке моей по хозяйству помогая. Так длилось больше года. Уже и родители мои стали замечать, что Лидочка ко мне относится с симпатией, да и я сам, с трудом поверив, что такая красивая девушка может обратить на меня внимание, стал ждать её прихода с нетерпением.

И как-то так настраиваться все стали, чтоб нам с Лидочкой в будущем пожениться.

И вдруг она пропала! Не приходит неделю, три недели, месяц! Уж более месяца прошло! Я начал думать, что она, всего вероятнее, нашла себе какого-нибудь жениха повиднее или родители её просватали, иль что-нибудь подобное. Конечно, я грустил...

Когда прошло с её последнего посещения чуть более полутора месяцев, проснулся я внезапно ночью, лежу с открытыми глазами и не могу уснуть!

Вдруг! Входит в мою комнату Лидочка, светленькая такая, радостная, смотрит на меня так хорошо, с любовью!

Я, растерявшись от такого посещения, её спросил:

— Лидочка! Ты как смогла в закрытый дом войти, все спят ведь?

— А я, Ванечка, умерла! — она мне отвечает. — Сегодня сороковой день, как меня Господь призвал! Но я просила разрешения с тобою попрощаться, и, как ты видишь, мне разрешили!

— Лидочка! — я в волнении воскликнул. — Я так надеялся, что мы будем вместе, будем любить друг друга, будем мужем и женою!

— Мы будем вместе, Ванечка, потом! У Господа! Мы встретимся опять! Я буду ждать тебя, любить и за тебя молиться! И ты меня люби и за меня молись! Ну, а пока прощай!

И Лидочка вышла из комнаты, улыбнувшись мне на прощанье. Мы с ней за время нашего знакомства ни разу даже за руку друг друга не коснулись! Тогда другое было время...

А я наутро, встав, благословился у маменьки в святую Лавру! И вот я здесь уже пятьдесят третий год!

Схиигумен снова улыбнулся доброй старческой улыбкой.

— Я все эти годы старался честно Господу служить, хоть мне и не открыто, как принимает Господь мои старанья, но я верю в Его ко мне, как и ко всем, любовь, надеюсь на его ко мне, многогрешному, милость, верю, что и Лидочка молится за меня и что, наверное, теперь уж скоро я её увижу!

Ну, чего ты плачешь? — батюшка потрепал по макушке вздрагивающую от слёз послушницу Марию. — Бог есть Любовь, и все, к нему стремящиеся, имеют надежду с Ним и со всеми, кого здесь любили, кто сам душой к Нему тянулся, в его Божественной Любви соединиться в блаженной Вечности! Ты в это веришь?

— Конечно, батюшка! Меня там тоже ждут: и таточка, и мама, и мама Агафья, сыночек Володенька, братишки с сёстрами, а может, и супруг... — вздохнула Мария глубоко, но не скорбно, — помолитесь обо мне, чтобы дал Господь и мне в монашеском житии сколько Ему угодно потрудиться и всех их встретить после...

— Благослови тебя Господь! — батюшка Иегудиил осенил крестом послушницу. — О том, что я тебе сейчас рассказал, молчи, пока я жив, понятно?

— Понятно, батюшка...

## ГЛАВА 16

— «Слава тебе, Показавшему нам Свет!» — возгласил из открытых Царских Врат служащий иеромонах.

— «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение...» — искренне-умиленно зазвучало с крылоса тихое, умиротворяющее душу славословие.

Мать Селафиила, стоя на больных распухших коленях, оперлась левой рукой на свой чисто оструганный ореховый посошок, правой скрюченными многолетними тяжёлыми работами пальцами, сложив их во знамение Пресвятой Троицы и Двуетной Богочеловеческой Сущности Господа Иисуса Христа, медленно и благоговейно осенила себя чудотворным Крестным Знаменем и замерла с прижатой к левому плечу рукой, вся погрузившись в молитву.

— Молитва, детонька, есть не произнесение лишь определённых слов вслух или про себя, умом или устами, по книжке или по чёткам, или вообще своими собственными словами — не важно, — старец Иегудиил, смотрел в глаза послушнице Марии, — всё это есть лишь обращение, призыв, луч покаянья и любви к небу из сердца устремлённый.

Это начало молитвы, для многих, к сожалению, и её конец, ибо на этом обращении, пусть даже горячем, искреннем, многие и останавливаются, почтя такое делание завершённым. В том их ошибка.

Важно не только высказаться самому, вычитать правило или излить душу — важно услышать ответ!

Молитва настоящая есть всегда — диалог! И если Второй Собеседник отсутствует или не отвечает, то это уже не есть молитва, но только праздное слов изливание, не приносящее

никакой пользы молящемуся.

— А как же мне узнать, слышит ли меня Господь в моей молитве, как мне услышать Его ответ, и каковым он вообще, этот ответ, бывает? — недоуменно вопрошала своего духовника послушница Мария.

— Ответ от Бога всегда приходит в благодати Святого Духа, — отвечал схиигумен, — но действие Его и восприятие молящимся бывает разным, в зависимости от духовной зрелости и состояния души молящегося. К одним приходит благодать, вызывая чувство покаяния, глубокого осознания своих грехов и недостатков, другим она приносит чувство умиления и тихой радости о Господе, у третьих вызывает преумножение любви, четвёртым Бог прямою речью отвечает, как Павлу Апостолу после его троекратного прошения об избавлении от немощи телесной. Господь сказал ему:

— «Довлеет на тебе благодать моя...» и далее, как пишет Павел сам в Послание.

И с Моисеем Бог говорил «уста к устам»!

Теперь сравни себя и Павла иль Моисея! Чувствуешь, насколько мы отстоим от высоты их духа и святости!

А потому нам и мечтать нельзя услышать такой ответ, какой сподобились они услышать!

Для нас с тобою истинным, неложным, непрелестным ответом Божьим на молитву нашу будет пришедшее внимание к себе, способность душу свою увидеть нелицемерно и, увидев, ужаснуться, глубоким покаянным плачем омыть её и утешение в надежде на прощенье получить!

Нам важно понимать, что без воздействия на душу нашу благодати Божьей мы не способны ни грехи свои увидеть, ни тяжесть их почувствовать, ни возжелать избавиться от них. Ни уж тем более почувствовать раскаянье и после сокрушенного плача — умиление!

Всё это действия Духа Божьего, по правильной молитве приходящего к просящему Его пришествию.

Настолько грех иссушает наши души, что мы, порой, умом своё непотребство сознавая, ни капли не ощущаем неудобства от своей мерзости, одно лишь окамененное ожесточенье сердца.

И лишь когда приходит благодать — приходит с нею сердца оживленье!

— Но как же, батюшка, надо молиться, чтобы Господь стал в благодати отвечать? — послушница Мария внимала всей душой словам духовника.

— Вот этому и учится любой христианин, тем более монах! Порой, ученье это бывает длиною в жизнь, но даже если на смертном одре впервые придёт ответ Святого Духа — жизнь прожита не зря! Хотя, конечно, молитве научиться можно при правильном подходе и старании за время меньшее, чем жизнь.

— Что значит правильный подход к молитве, отче!

— Прежде всего, вставая на молитву, вспомни, кто ты и Кто Тот, с кем ты собираешься

беседовать! Не ты счастливым Бога делаешь тем, что снисходишь до общения с Ним, а Он тебе дарует счастье быть услышанной Его Святыней! Поэтому к молитве приступай в смиренном духе, не иначе! Иначе будет твоя молитва молитвою евангельского фарисея, то есть путём надёжным в самомнении и прелесть пагубную!

Затем фундаментом молитвы является — внимание! Внимательное и осознанное произнесение каждого слова обращённого тобою к Богу! Не «вычитывание», а моление, как осуждённого преступника к судье, осознающего, что от каждого слова зависит может его жизнь!

Вот почему Отцы Святые говорят, что лучше «пять слов умом, чем сотню языком» произнести в молитве! И чтобы научиться держать вниманье на словах молитвы, они советуют молитве обучаться на кратких призываниях, из которых самое лучшее — молитва Иисусова!

Затем, когда ты приступаешь к разговору с Богом, имей в виду: должна молитва быть «безвидной», или «без-образной», то есть категорически нельзя себе каких-либо «картинок» или «образов» в видении представлять!

Ни Господа, ни Божьей Матери, ни Святых Угодников, ни чего другого: ни икон, ни фресок, ни картин духовных!

Иначе будешь ты молиться не Творцу и не Святым Его, а сотворённому тобой в воображении «фантому», собственной фантазией рождённому! Что, конечно, духовной пользы принести не может, но лишь одно духовное глубокое расстройство, что у католиков мы видим.

Затем должна молитва совершаться с усилием сердца, с напряженьем сил души, иначе ни внимательной она не будет, ни безвидной! Попробуй десять раз молитву Иисусову, даже короткую, из пяти слов — «Господи! Иисусе Христе! Помилуй мя!» — произнести со всем вниманием на каждом слове и не допустить при этом ни помыслов сторонних, ни картин в воображенье вспыхивающих постоянно! И сразу ты поймёшь, какой тяжёлый труд — молитва!

Сам Господь наш Иисус Христос сказал, что «Царствие Божие силою берётся, и прилагающие усилие входят в Него!».

И ещё один совет тебе, новоначальной: молись по времени, не по числу молитв! Ни в коем случае не ставь себе задачу во что бы то ни стало прочитать какое-то конкретное число молитв! Начнётся погоня за количеством, за «буквой» и — потеря «духа» и смысла самого моления!

Определись сначала, сколько ты можешь на умную молитву каждый раз выделить времени, чтобы спокойно, не оглядываясь на часы, поговорить с Христом. Пусть это будут пять минут иль полчаса, иль час — не это важно поначалу! Важно это время, пусть поначалу краткое, всецело посвятить Христу!

Теперь попробуй советы, что тебе сейчас я дал, начать использовать в своём ученье, а, спустя немного времени, придёшь, и мы поговорим ещё!

— Благословите, отче!

— Бог благословит!

## ГЛАВА 17

Пение «Великого славословия» закончилось, на едином дыхании пролетели «сугубая» и

«просительная» ектении, «Утверди Боже...», прозвучал с амвона отпуст.

Клиросная братия пошла прикладываться к «праздничной» иконе, пономари отправились по храму гасить лампадки.

Только старая схимница, застывшая на коленях в уголке около крылоса, не подавала признаков жизни. Братия, уже не раз наблюдавшая подобное, не обращала на неё внимание.

Только трепетно почитавший старицу инок Георгий, со всеми приложившийся к иконе, остался в храме, сидя на скамеечке неподалёку от согбенной старческой фигурки, стоявшей на коленях. Прошло, наверное, около двадцати минут, фигурка старицы тихонько шевельнулась. Инок Георгий мигом подскочил и бережно помог подняться с колен старой схимнице. Она тихонько подняла свои слепенькие глаза на помогшего ей встать на ноги инока, в её не постариковски чистых сияющих глазах светилась такая радость, такое счастье, что даже знавший о её духовных дарованиях Георгий был поражён лучившейся от её облика благодатью.

— Ах, Юрочка! — вздохнула она шепотком. — Если б ты знал, где я сейчас была, кого я видела только что!

— Кого, матушка?

Потом, потом как-нибудь тебе расскажу! — словно опомнившись, заворчала мать Селафиила.

— Матушка, вправду расскажешь? — с надеждой спросил благоговейно инок.

— Тебе расскажу, раз обещала, потом... — и старица тихонько зашаркала «баретками» к выходу из храма, подслеповато постукивая впереди себя светленькой палочкой.

В первый раз с ней случилось такое в конце войны, примерно за месяц до победных залпов у рейхстага.

Тогда уже постриженная в иночество с тем же именем, Мария продолжала, теперь уже оставшись лишь вдвоём, подвизаться в молитве и труде с постриженной в великую схиму матерью Августой, в схимническом постриге получившую архангельское имя Гавриила.

Постригал её сам батюшка Иегудиил «страха ради смертного», так как подхваченная мать Августой в февральские морозы сорок третьего двусторонняя пневмония почти не оставляла ей шансов на дальнейшее продолжение земного жития.

Но пути Божьего Промысла непостижимы, схимонахиня Гавриила выжила, и даже лик её заметно помолодел той особой, вечной молодостью, которой отличаются лики святых на фресках и иконах в храмах. Примерно тогда же, с разницей в месяц, отец схиигумен облёк послушницу Марию в «рясофор» — начальную ступень монашеского посвящения христианина Богу.

— Была твоей покровительницей от святого Крещения равноапостольная Мария Магдалина, теперь молись новой ходатаице за тебя пред Богом — преподобной Марии Египетской, проси укрепить тебя в подвиге поста и молитвы, а наипаче в терпении от Господа посылаемых испытаний! Но и Марию Магдалину не забывай, она с тобою навсегда духовно связана...

Дочки Мариины выросли и разлетелись, словно пташки. Старшая, Саша, оказалась со своим медицинским ВУЗом в эвакуации на Урале, и, несмотря на многочисленные поданные ею заявления, на фронт её не отпустили — сказали, что с её специализацией врачи в тылу нужнее.

А Василиса, закончив краткие курсы связистов, уже довоёвывала где-то в Чехии, даже награды имела.

Анечка в Москве трудилась помощницей бухгалтера в каком-то министерстве, немаловажном в оборонном деле, за ней уже всерьёз ухаживал сотрудник из соседнего отдела, втайне от всех посещавший окраинный московский храм.

Монашество никто из дочек не избрал, но мать Мария знала, что становиться на стезю монашества разумно лишь тогда, когда ты понимаешь, что это такое — монашеский путь, узкий и тернистый, когда монашества желаешь всей душой и только одного его, не мысля себя никак в любом другом житии.

И батюшка Иегудиил свидетельствовал:

— Коли, дочка, есть малейшее сомненье — идти в монахи или не идти — ни в коем случае тогда нельзя к монашеству даже приближаться! Только если всем сердцем желаешь пострига и постнического иноческого жития и только этого, то и тогда с молитвой, с рассуждением и с опытного духовника благословеньем такое решение можно принимать! Иначе ад при жизни обеспечен!

Но что касается самой инокини Марии и сомолитвенницы её схимонахини Гавриилы, то их призвание к монашеской стезе было настолько очевидным, что странно было бы их и представить себе в любом другом качестве, настолько естественным было для них «ангельское житие».

«Свет мирянам — монахи, свет монахам — Ангелы!» — этот святоотеческий девиз, написанный на висящей у изголовья матери Гавриилы старинной раскрашенной гравюре, был для обеих подвижниц не символом, но — руководством в жизни.

Так вот тогда, в апреле сорок пятого, весенней тёплой ночью с инокиней Марией в первый раз случился необычный прецедент, который так потряс её сознание, что она целый месяц не могла потом прийти в себя, переживая то свершившееся с ней событие.

Умышленно приходится оставить за рамками сего повествования тот путь, который проходила Мария в умном делании внутренней молитвы, поскольку делание сие великое без духовного наставника в этом делании опытного нельзя дерзать и начинать без риска потерять рассудок и впасть в безумие и пагубную прелесть.

Тому, кто ищет жизни совершенной, кто путь умной молитвы желает проходить неповрежденно, тот должен со смирением просить Владыку Господа послать ему наставника-духовника, под чьим надзором и духовным руководством он сможет сей молитве обучаться и в духе возрасть. У старицы Селафиилы такой наставник был и не один, о прочем умолчим во избежание соблазна ей начать неосторожно подражать.

Как обычно, ночью, в своей келейке-боковушке пребывая в делании святом молитвы Иисусовой, предстоя в сердце Богу и благодатным умилением утешаясь, инокиня Мария вдруг ощутила как бы почти незаметный толчок внутри себя и, открыв глаза, увидела себя стоящей в Троицком храме Сергиевой Лавры прямо у раки, рядом с дверью в «Серапионову палату».

Сначала инокиня не поняла необычайности с ней происходящего, а просто с радостью стала оглядываться вокруг.

Всё было так, как до закрытия Лавры безбожниками. Тихо шёл молебен с Акафистом батюшке



преподобному Сергию, смиренно струйка богомольцев текла к благоуханной раке с мощами основателя монастыря и, выросшего вокруг обители города. Люди прикладывались по обычаю к покрову на мощах святого, затем спускались вниз по двум ступенькам и, минуя стоящую сбоку от прохода инокиню Марию, шли к выходу из храма.

Марию никто не замечал, не обращал на неё вниманья, хотя проходящие мимо богомольцы, едва не наступали ей на подол.

Пока она смотрела на иконы иконостаса и слушала умильно подпеваемый народным хором, стоящим в уголке, припев Акафиста, от раки отделился, как Марии показалось, вышел из северной двери алтаря, невысокий седенький монах, который, улыбаясь, направился прямо к застывшей удивлённо инокине Марии, и, подойдя, благословил её.

— Ну вот, пришла! — он посмотрел ей в глаза, и этот взгляд, как и весь его облик, показался Марии удивительно знакомым. — Я рад тебя здесь видеть! Ты не пугайся, приходи ещё! И старцу твоему передай мой поклон, скажи — увидимся с ним скоро!

Монах поклонился, и, повернувшись, снова отошёл куда-то к раке, возможно, внутрь алтаря, хотя дверь не пошевелилась, и исчез...

Инокиня Мария вздрогнула и пришла в себя.

Она по-прежнему стояла на коленях, локтями опершись на стул в своей моленной комнатке, чётки ритмично двигались в её пальцах, молитва грела сердце.

— Я засыпала? — пришла ей мысль в голову.

— Нет! — ответила она сама себе. — Это не был сон! Всё было въявь, да и мне совсем не хочется спать, но... тогда, что это было?

Она в раздумье подняла голову к полке образами, перед которыми горела тихим огоньком лампадка.

— Что? — вдруг всполошилась инокиня, вглядываясь в одну из икон. — Да! Это точно — он!

Она осторожно достала небольшой образ с полки, поднесла его ближе к свету — на иконе был изображён, только что подходивший к ней в Троицком храме монах!

Надпись на иконе гласила "преп. Сергей Радонежский".

## ГЛАВА 18

— Батюшка! Ещё он вам поклон передал, — инокиня Мария поклонилась в пол схиигумену Иегудиилу, — и велел передать, что вы скоро с ним увидите!

— Ну, слава Богу! — радостно перекрестился старец, поддерживая левой рукой почти не действующую после инсульта правую. — Это весть благая!

— Но, батюшка, как мне понять — что это было? Откуда, почему со мной и для чего? Я так боюсь, что это какое-то новое искушение для меня! — инокиня Мария была взволнована и встревожена. — По моим грехам не может быть мне от Господа таких подарков, но вы же говорите, что никаких признаков бесовской прелести вы не видите?

— Чадушка, — задумчиво произнёс старец, — я не знаю, что тебе сказать! Со мной такого

никогда не бывало, и не припомню, чтобы за время, пока я несую недостойно своё послушание духовника, чтобы мне кто-то о таком поведал...

Есть батюшка один здесь, в Подмосковье, по железной дороге на Казань придётся ехать около полутора часов, затем пешком вёрст шесть. Я тебе дам его адресок, он при приходском доме у батюшки-настоятеля вроде как в сторожах живёт! Ему уж скоро девяносто шесть! Зовут его отец Доримедонт, он схимонах, жил долго на Святой Горе Афонской, затем в горах Кавказских, затем в центральную Россию перебрался и поселился при приходе своего духовного сына, протоиерея Николая, тому уж самому под семьдесят!

Я с ним знаком был около трёх лет, когда он жил здесь в Сергиевом Посаде и в Лавру на молитву приходил. Вот он, как помнится, рассказывал однажды про что-то, бывшее с ним в том же роде, что и с тобою приключилось, когда он жил ещё в Святом Уделе Божьей Матери — Горе Афонской.

Ты съезди-ка к нему, поговори, быть может, он тебе сумеет объяснить с тобою происшедшее, он опытный монах! А я, прости, уста сомкну — не ведаю я, многогрешный, что сказать!

— Мария, инокиня, говоришь? Манянька, значит! — отец Доримедонт оказался крупным, полным и весёлым стариком с лысой головой, огромной белой бородицей и почти всеми, крупными зубами. — От Егудиилки, говоришь? Ох, Егудиилка, — пора ему в могилку!

Мне, правда, тоже пора! — засмеялся он, увидав испуг в глазах "Егудиилкиной" духовной дочери. — Да-а-вно пора, а я чего-то всё небо коптю! Ну, пошли в домушку, что-ли, инокиня...

В "домушке" отца Доримедонта, комнате размером два на три метра, три стены были сплошь от пола и до потолка увешаны иконами — большими и маленькими, писаными и типографскими, в кивотах и просто прикреплённых к оштукатуренной стенке.

Четвёртую стенку с дверью пополам делила печка с прибитой к ней деревянной вешалкой, на гвоздиках которой уместились какой-то ватник, пара рясочек с подрясниками и брезентовый плащ. Спинкой к печке стояло облупленное деревянное кресло с дощатым сиденьем, на спинке висела выцветшая, застиранная схима с кукулем и схимнический верёвочный параман.

И всё! Больше в комнатке, кроме нескольких лампад, мерцавших перед иконами, абсолютно ничего не было!

— На чём же он спит? — подумала, оглядывая обстановку инокиня Мария.

— А дрыхну я, Манянька, — словно угадав её мысли, засмеялся, обнажив зубы, отец Доримедонт, — в другой опочивальне! Там у меня есть ложе с «бадалхином» и кистями, пуховые перины и тьма подушков! Ну, садись в мою «стасидию»!

Инокиня Мария села в кресло, старик достал откуда-то из угла крохотную скамеечку и примостился на ней напротив гостя.

— Ну, давай, Манянька, рассказывай, — старик вдруг словно бы прислушался к чему-то, — нет, подожди! Встань-ка вон туда, за вешалку, и тихо стой!

В дверь постучали. Отец Доримедонт, не торопясь, открыл и встал в дверях сеней, не пропуская внутрь пришельца. Инокиня Мария испуганно замерла и прислушалась.

— Чего тебе? — раздался нарочито грозный голос схимника.

— Я, гражданин, ваш новый участковый, участок обхожу, — раздался слегка картавый развязано-нагловатый молодой мужской голос, — мне надо ваши документки проверить, пройдёте в помещение!

— Ещё чего! — загремел голос отца Доримедонта. — Мож, у меня там баба с титьками, как у твоей Глафиры, Федя!

— Какой Глаф... Я не Федя, я Василий, — обалдело-растерянно залепетал невидимый Марии человек.

— Ты Фёдор во Святом Крещении, сам знаешь! В честь мученика Феодора Тирона родной бабкой во младенстве окрещён! А Васькой твой отец, пьянчуга, настоял, чтоб в пачпорт записали!

— Откуда вы...

— Оттуда, где всё знают! Про Глашку твою полюбовницу, к которой ты от своей жены Миленки бегаешь, как будто на дежурства, что — подробней рассказать?

— Да как вы...

— Так! Ты ей скажи, козе блудливой, чтобы колечко с бирюзой, которое она у собственной бабки скрала, пусть назад в комод положит! Для бабки это память о муже, что погиб геройски с японцами воюя! И если будет с мужиком чужим блудить, схлопочет рак, и титьки ей отрежут, из-за которых ты к ней бегаешь, засранец!

— Да я...

— Чего — ты?! Зарестуешь меня, что ли? В тюрьму посодишь? Аль застрелишь со своего нагану, который ты по пьянке потерял три дня назад, и где — никак не вспомнишь? Кого из нас первой в тюрьму посодють? А?

— Отец! Не погуби!

В сенях раздался грохот рухнувшего на колени пришельца.

— Дурила, Федька! Сам себя ты губишь! Распутством, пьянкой, взятками — безбожник! Такая мать была благочестивая, Царства ей Божьего, Матрёне!

— Отец! Прости! Отец, что мне делать, я запутался совсем... — в сенях раздался плач.

— Вставай ужо, засранец! Молитв ради матери твоей тебе Господь даёт возможность покаяться... Чтобы в субботу вечером на исповедь бегом к попу Николке вашему! И Глашка каяться пусть придёт, в другой день только! Не то...

Ну, я сказал уже, что её ждёт...

И если будешь бить жену, засранец, не будет у тебя детей, запомнил?

— Батюшка! Я исправлюсь! Помолись за меня...

— Ладно! Иди уж, помолюсь...

Да! Твой левольверт валяется в крапиве у нужника, там, где тебя рвало с сивухи Варькиной,

ищи к забору ближе! А то ведь вправду, дурачка, посодють...

— Отец, спасибо! Спаси тебя Бог! — раздался звук убегающих шагов.

— О! Бога вспомнил! Ну и слава Богу! — отец Доримедонт, посмеиваясь добродушно, опять вошёл в свою каморку и уставился весёлым глазом на ошалевшую от всего услышанного инокиню.

— Чего уставилась, Манянька? Глазищи вон — с тарелку, счас выпрыгнут! Садись, давай, обратно!

Мария, всё ещё ошарашенная, села.

— Вишь, нового прислали пугать старого бродяжку! — ворчал, улыбаясь, схимонах. — Предыдущий две недели назад пугать приходил! Сам только чегой-то испужался, уже из органов ушёл...

Ну, чего пришла-то? В первый раз, что ли, Господь сподобил пощупать, как тонка перегородка между земным миром и небесным? — отец Доримедонт смотрел на инокиню Марию уже серьёзным взглядом. — Ты не пужайся, это пустяки!

Все эти виденья, откровенья, исцеленья, конечно, впечатляют попервой... Но это всё для них, для Федьков с Глашками, — старец махнул рукой за спину в сторону сеней, — чтоб образумить их, чтобы от пропасти погибели отвратить, куда они несутся будто кони без вожжей!

Дал тебе Господь конфетку духовную, чтоб ты убедилась, что Он тебя, Свою деточку, любит и о тебе печётся! Но не конфетки составляют основную пищу, тем более монаха! Столько монахов пало, имевших откровенья, дары прозорливости, исцелений, бесов изгоняли...

Да разве в этом цель?

Апостол Павел пишет, мол, что толку, если все дары стяжаю, а любви иметь не буду? Буду как бубен, как кимвал звенеть — и всё впустую! Монаха подвиг в чём? Стяжать в себя Христа в Его Любви!

Молениями, постами, подвигами разными привлечь Божественную благодать, которая всю твою душу — как крестьянин поле — очистит от терний, вспашет, взборонит, засеет семенами, польёт и вырастит плоды Любви! Вот цель любого христьянина — стать любвеобильным, в любви подобным Богу, а не в чудесах!

Чудес творенье без любви — фиглярство! Антихрист-то таким и будет — «факир» — чудес мильон и ноль любви! Поэтому, когда Господь тебе подарки духовные ещё не раз подарит, помни — Его дары есть лишь свидетельство, что Он тебе готов свою благодатную силу доверить, чтобы ты ей дела любви творила! Его дела, Его любви, во славу Самого Его! А ты лишь ложка, которой кормят голодающих! Всё поняла?

— Стараюсь, батюшка, — кивнула инокиня Мария, приходя в себя.

— Ну ладно, всё! Иди, давай, домой! Стемнеет уж, пока доедешь, а у вас окраина небезопасна...

— Благословите, отче!

— Бог тебя благословит, и твой Егудиилка! А я не поп, чтобы благословлять, — простой монах!

Я помолюсь, прощай...

— Прощайте, батюшка!

## ГЛАВА 19

— Ну что ж, пора в могилку, значит — пора! — довольно улыбнулся отец Иегудиил, выслушав доклад инокини Марии о посещении отца Доримедонта. — Доримедонтушка так зря не скажет! Надо к встрече с Господом готовиться!

— А я! — заплакала Мария. — А я-то как же? И мать Гавриила, и другие ваши чада? Нам что делать, к кому за помощью идти?

— За помощью идти надо ко Господу! А уж как Он эту помощь подаст — Ему виднее! — строго взглянул на плачущую инокиню схиигумен. — Меня тебе Кто дал, а мне тебя и прочих духовных чад? Он, Господь, и даровал нас всех друг другу, чтоб мы друг другу послужили помощью духовной! Кто кому советом, а кто кому молитвой, или, вон, ряску постирать! Как бы я сам один с такой рукой стирал? — он приподнял левой рукой полупарализованную правую. — И это тоже важно! Любая помощь ближнему может стать способом стяжания Любви, хоть мусор вынести, хоть дверку придержать!

Всегда считай, что делая что-либо ближнему, ты это делаешь Самому Христу! Порой, не знаешь, что больше благодати принесёт: всю ночь молиться или бедному сиротке штаники заштопать! Важно не что ты делаешь, а как, с каким настроением своей души! С любовью почищенная и картошка исцелить может, с любовью сказанное слово душу воскрешает — об этом помни! Никого от себя, не одарив хоть чуточку любовью, не отпускай! Нас затем Господь друг к другу и приводит, чтоб мы любить учились, чтоб в Царство Божие — Царство Любви, уже сейчас входили, поняла?

— Да, батюшка! — кивнула инокиня Мария. — Но если вас не станет, нам с мать Гавриилой у кого же окормляться?

— Ну, за Гавриилу ты особенно не думай, у неё свой путь, о ней я позабочусь... — старец схиигумен задумался, — а вот тебе, пожалуй, будет в скит дорога, к отцу Иринарху!

— Какому отцу Иринарху, батюшка, — удивилась инокиня Мария, — что за скит, разве сейчас есть скиты?

— Есть, детонька, есть и скиты, есть и большие монашеские общинки в миру вокруг своих духовников! Ведь есть же люди, жаждущие тесного пути монашеского? А раз есть — они найдут друг друга, объединятся в подвиге, и им Господь руководителя духовного даст! Закрыли власти монастыри, но души для монашеского подвига не закроешь! А значит, и монастыри будут, только не явные...

— Батюшка, что значит не явные монастыри?

— Ну вот, например, есть схиигумен Иегудиил, а у него есть духовные чада в монашеском постриге, которые выполняют по его благословию келейные монашеские правила, кому какое благословлено, посещают свои приходские храмы и участвуют в богослужениях: некоторые в качестве молящихся, некоторые в качестве клириков, некоторые в качестве прислуживающих или несущих различные послушания при храмах.

Все они исповедуются регулярно у своего духовника и причащаются с той частотой, с какой их

духовник благословил. Также и житейские бытовые вопросы они решают с советом и благословением духовника. Чем такая духовная семья отличается от открытого монастыря? Только житием не в одних стенах!

Во всём остальном жизнь монахов такой общины фактически является жизнью монастырской, только вместо монастырских послушаний монашествующим в миру, порой, приходится ради пропитания работать на мирских работах и получать там зарплату.

А бывают и такие монастыри в миру — есть, например, храм, обычно сельский, а при храме живёт его настоятель, священник-монах, и с ним либо в приходском доме, либо в ближайших домах живут прислуживающие в храме певчие, алтарницы, просфорницы, уборщицы, дворники и так далее. Но все они ведут монашеский образ жизни, окормляются у своего настоятеля-духовника, имеют от него келейные правила. Ну и чем это не монастырь или скит по сути своего духовного устройства?

С тех пор, как власти стали бороться с монашеством и начали закрывать обители, таких неофициальных монастырьков и скитов в миру появилось немало! И жизнь этих духовных общин, порой, имеет не меньшую, а то и большую духовную высоту, чем в оставшихся ещё открытыми «официальных» монастырях.

Поскольку ты уже не связана попечением о детях, то тебе нет необходимости гнаться за большим заработком. Кроме того, за годы совместной жизни с матерью Гавриилой ты овладела церковным шитьём, клиросным чтением и пением и даже можешь печь просфоры, и потому после моей кончины тебе будет лучше прибиться к какой-нибудь монашеской общинке, живущей возле церкви.

Есть у меня несколько известных мне мест с подходящим для тебя житием, только мне надо ещё молиться (и ты тоже об этом молись), чтобы Господь указал тебе место монашеских подвигов, наиболее благоприятное для твоей монашеской жизни! Мнится мне, что хорошо тебе будет спасаться в общине отца архимандрита Иринарха, настоятельствующего в одном тихом селе под Рязанью, но пока точного извещения мне от Господа не пришло...

— Как благословите, батюшка, — поклонилась инокиня Мария, — раз надо, буду об этом молиться!

— Благословляю, чадо! Времени нам с тобой быть в общении духовном осталось совсем немного...

Инокиня Мария тихо заплакала.

Предсказание о «могилке для Егудиилки» отца Доримедонта, к глубокой скорби инокини Марии и всех его духовных чад, сбылось неожиданно быстро. В конце Светлой Пасхальной недели, на праздник иконы Божьей Матери «Живоносный Источник», схиигумен Иегудиил по окончании литургии и водосвятного молебна во время чтения благодарственных молитв «по святом причащении» тихо почил, присев на табуреточке в углу большого алтаря.

Он ушёл так скромно и неприметно, что даже сослужившая с ним священническая братия не заметила его отшествия, и только ожидающая за иконостасом возможности поздравить любимого батюшку с праздником толпа духовных чад старца вынудила последнего уходящего из алтаря иеромонаха вернуться и оглядеть алтарь повнимательней.

Монашеское погребение отца схиигумена священники храма вынуждены были совершить ночью, так как власти, небезосновательно опасавшиеся большого скопления почитателей

батюшки, запретили погребать его открыто днём.

Впрочем, многие близкие чада, в том числе и инокиня Мария со схимонахиней Гавриилой, всё равно узнали по «сарафанному радио» о времени и месте батюшкиного отпевания и оказались в числе молящихся о его честном упокоении на удивительных по особой духовной красоте и проникновенности проводах монашествующей братией своего «собрата и сослужителя».

Это отпевание осталось в памяти старицы Селафиилы навсегда.

А на сороковой день по кончине старца также тихо, как и духовный отец, преставилась в своём стареньком креслице с чётками в руках от внезапного сердечного приступа схимонахиня Гавриила.

Видно, схиигумен Иегудиил, как и обещал, позаботился о ней.

Однако, инокине Марии недолго пришлось оставаться в одиноком затворничестве. Не успела она закончить сорокадневное чтение псалтыри по новопреставленной схимонахине, как келейник усопшего схиигумена через общую знакомую прихожанку передал ей «на молитвенную память» из батюшкиной кельи маленькое карманное Евангелие. Открыв его на первой попавшейся странице, инокиня Мария обнаружила вложенный внутрь обрывок тетрадного в клеточку листа, на котором было написано:

«Архимандрит Иринарх. Храм Казанской иконы Божьей Матери». И дальше полный адрес села, в котором находился этот храм, с указанием, как удобнее туда добраться.

— Благодарю тебя, батюшка! — смахнула слезинку инокиня Мария, — ты позаботился и обо мне...

Утро следующего дня застало её стоящей с маленьким фибровым чемоданчиком в руках на перроне Сергиево-Посадского вокзала, с которого поезда отправлялись в сторону Москвы.

Ещё одна страница её жизни оказалась перевёрнутой.

## ГЛАВА 20

Старая схимница вышла из храма на паперть, придерживаясь рукой за стеночку, другой рукой постукивая палочкой впереди себя по ступенькам, спустилась с лестницы из-под венчавшей паперть колокольни и вышла на дорожку, ведущую в сторону её келейного домика в скиту.

Уже темнело, сильно пахло «ночным цветком» — терпко благоухающей каприфолью.

Мать Селафиила остановилась посреди дорожки, принялась. С чем-то связан был в её памяти этот сильный, характерный аромат?

Ну, да! Конечно! Именно этот запах встретил её, когда она под вечер добралась до отдалённого села в Рязанской области и вошла в калитку церковной ограды, направляясь к сторожке в которой обитал архимандрит Иринарх!

Отец архимандрит Иринарх оказался высоким худым монахом в выцветшем, но чистом, аккуратно заплатавшем на локтях подряснике, с маленькой редкой седой бородкой и умными глубокими карими глазами на бледном вытянутом лице. На вид ему было слегка за шестьдесят, хотя определить возраст монаха на практике — одно из самых затейливых дел.

Он долго разговаривал с инокиней Марией на крыльце своего домика-сторожки, расспрашивал то об одном, то о другом, вертел в руках, разглядывая, листок с написанным рукою схиигумена Иегудиила его именем и адресом.

Потом улыбнулся светлой и доброй улыбкой, неожиданной на его аскетическом строгом лице, и спросил:

— Спой-ка лаврским распевом «Се жених грядет в полунощи»!

Инокиня Мария, немного смутившись, тихонечко начала петь это умильное песнопение так, как они обычно пели его с матерью Гавриилой на читаемой ими совместно полунощнице.

Отец Иринарх, также улыбаясь, дослушал песнопение до конца.

— Вот и научишь этому распеву наших сестёр, а то я, безслухий, никак не мог им этот распев показать, а так соскучился по лаврскому пению! Добро пожаловать в нашу «семью», мать инокиня!

Тот период в своей жизни, мать Селафиила всегда вспоминала, как самый спокойный и «урожайный» в своей жизни. Эти семь лет жизни в Рязанской глубинке стали для неё первым опытом жизни в настоящей монашеской общине со внутренним «уставом», с регулярными богослужениями, а главное — руководимой опытным и искренне любящим своих подопечных, готовым душу положить за них, духовным наставником.

Сестёр было восемь.

Старшую из них, почти не поднимавшуюся со своего одра девяностодвухлетнюю старушку, схимонахиню Афанасию, сам отец Иринарх почитал своей «аммой» — старицей и духовным руководителем.

Принявшая постриг в начале семидесятых годов девятнадцатого столетия в небольшой, прославленной своими подвижницами женской пустыни под Киевом; проходившая монашеский искус и обучение молитвенному деланию под руководством прозорливой старицы Мисаилы, к которой за советом приезжали даже архиереи из отдалённых епархий великой тогда Российской Империи; выросшая духовно в древних традициях византийско-русской монашеской школы, — схимонахиня Афанасия и впрямь была неисчерпаемым кладом христианской мудрости и подвижнического опыта.

Сохранившая в своём весьма почтенном возрасте великолепную память, живость ума и удивительный дар духовного рассуждения при почти полной неподвижности измождённого семидесятилетиными подвигами старческого тела, мать Афанасия была духовным сердцем маленькой монашеской общины, собранной промыслом Божиим вокруг архимандрита Иринарха в глухом Рязанском селе.

Понимая, что дни её пребывания в хрупкой земной оболочке быстро сокращаются, желая напитать только что поступившую в обитель инокиню Марию той бесценной пищей, которую из уст схимонахини Афанасии другие сестры получали уже на протяжении нескольких лет, а, возможно, провидя в скромной «новенькой» будущую приемницу «аммы» в духе, отец Иринарх назначил инокине Марии послушание келейницы к старице Афанасии.

«Амма» и келейница сразу почувствовали друг в друге родственные души, и возникшая между ними любовь не угасала до самой кончины старицы Афанасии, постигшей её в одна тысяча девятьсот сорок восьмом году.



Старица нежно называла свою почти пятидесятилетнюю келейницу «Машенька» или «девчущка моя», держала её при себе днём и ночью, отпуская лишь на богослужения и совместные общие трапезы, которые она, по древней монастырской традиции, воспринимала как естественное продолжение богослужений.

Саму «амму» келейница Мария кормила, если можно назвать едой то малейшее количество пищи, которое позволяла себе старица, почти как ребёнка — с ложечки, прямо в келье на одре, посадив старицу поудобнее и подложив под её, сгорбленную годами и трудами спину несколько подушек.

— Девонька моя! — обращалась к инокине Марии старица, — ты спрашивай, спрашивай меня всё, что в твою головоньку милую придёт, Я пока в разуме, всем, что помню, с тобой поделиться готова, таких как я «сундучков со старьём», поди, уже и немного осталось! А там, в старье-то этом, немало есть камушков драгоценных, которые не стареют, а «вчера и днесь, так же и во веки» нужны и ценны. Как говаривала приснопамятная моя духовная мать Мисаила, «учись у Адама, учись у Ноя, учись у Иова, учись у Давида, учись и у матери с отцом — так и вырастешь молодцом»!

А учиться у матери Афанасии было чему!

Как «всё» терпеть, как помыслы осуждения в «пожаление согрешающего» обращать, как не спать на ночной молитве, что и как есть и пить перед бдением, чтобы бесы помыслами меньше смущали, какими пальцами чётку тянуть, как стоять, чтобы меньше ноги болели, как плакать «духовно», как о Боге память держать, как сидеть, в чём ко сну отходить и ещё много-много всяких мелких и важных приёмов, обычаев и традиций, собранных в веках поколениями монашествующих и помогающих успешно проходить многотрудный подвиг иноческого жития.

Инокля Мария жадно впитывала каждое слово, исходящее из уст старицы, все её советы, с благословения отца Иринарха, сразу же старалась воплощать в жизнь, пользуясь возможностью переспросить и поправить что-то, не удававшееся с первого разу.

Старица же, видя искреннее горячее желание своей келейницы перенять и научиться у неё всему богатству духовной жизни и монашеской культуры, которым она обладала в избытке, также не жалела времени и сил на обучение будущей преемницы по благодати старчества.

Другие сестры, если и принимали поначалу вбрасываемые в их сознание демонские помыслы ревности к «только что появившейся выскочке», то очищаемые от них исповедью и откровением помыслов у отца Иринарха, видя искреннее смирение и доброе расположение ко всем инокине Марии, укрепляемое беспощадностью к собственным немощам, безотказностью в помощи, истовостью в молитве и нелицемерным послушанием, поневоле прониклись к ней искренним уважением и любовью.

Через год, на первой седмице Великого Поста, отец Иринарх постриг инокиню Марию в мантию с именем Антония — в честь преподобного Антония Великого, пустынноика Египетского.

## ГЛАВА 21

— Тебе помочь, матушка? — раздался рядом со старицей исполненный обеспокоенности и заботы голос инока Георгия. — Ты себя хорошо чувствуешь, не утомилась на службе? Может к тебе нашего доктора — отца Дионисия позвать?

— Спаси тя Христос, внучик! — улыбнулась мать Селафила. — Всё хорошо! Я тут просто

задумалась немного, старые годы свои вспомнила, постриг свой, манатейный...

Именно этот постриг из всех трёх своих — иноческого, мантийного и великосхимнического — наиболее запомнился матери Селафииле своей особенной неповторимой атмосферой вселенскости совершающегося события — смерти земного человека и духовного рождения «земного ангела» — монаха.

Как и положено по чину «пострижения в мантию», совершался постриг во время совершения Божественной Литургии и, поскольку монашеская жизнь общины отца Иринарха протекала втайне от мира, то и сама литургия совершалась глубокой ночью.

В ту ночь впервые инокиня Мария увидела сестёр общины в своих обычно запрятанных по сундукам монашеских облачениях, специально одетых в честь торжественного события — приобщения «к святой дружине» монашествующих ещё одного «воина».

Мария смотрела и не узнавала в окруживших её строгих монахинях, в чёрных мантиях и клобуках напоминающих закованных в доспехи рыцарей, тех привычных её глазу сестёр, которых обычно она лицезрела в простых полотняных платочках, пёстреньких ситцевых платишках и поношенных бабьих «кацавейках».

Только проглядывающие из глубины сестринских глаз любовь и искреннее сердечное сопереживание не давали ей потерять ощущение внутренней близости и родства с этими «небесными людьми».

Даже еле удерживающую связь с земным миром, лишь поблескивающую вспышками уходящей телесной жизни во всё ещё ясных мудрых глазах, древнюю «амму» Афанасию, по её требованию и благословию настоятеля, осторожно перенесли со одра из келии и усадили в принесённое специально для неё креслице около амвона.

— Иринарх! — еле слышно позвала она перед началом службы отца архимандрита.

— Что, матушка? — бережно наклонился к ней любящий духовный сын.

— Иринарх! Я буду её восприемницей! — прошептала из глубины величественно-траурного схимнического кукулия старица.

— Матушка! — удивился отец Иринарх. — Сколько же времени ты сможешь вести её?

— А ей дольше и не надо, — еле слышно ответила схимонахиня, — других сестёр она давно переросла! А после меня у неё старицы уже не будет... Будут только старцы...

— Как благословишь, матушка, — смиренно ответил архимандрит.

— Что пришла еси сестро, припадая ко святому жертвеннику, и ко святей дружине сей? — спокойно-торжественно спросил отец Иринарх поднятую им с пола инокиню Марию, оставшуюся лежать на амвоне после последнего, положенного ею по чину пострига, поклона.

— Желая жития постнического, честный отче! — искренне осознавая смысл произносимых ею уставных слов, ответствовала инокиня.

— Желаеши ли сподобиться Ангельскому образу, и вчинена бытии лику инокующих? — вновь задал положенный вопрос отец архимандрит.

Желает ли она сподобиться «ангельского образа»?

С самого детства это желание не оставляло её в течение пятидесяти лет исполненной множества скорбей и треволнений мирской жизни.

Сколько раз в самые, казалось бы, счастливые периоды её семейной жизни, когда, с точки зрения мирской женщины, всё было хорошо, Машенька, Маша, Мария Никитична тихо плакала втайне от близких, вспоминая те краткие моменты непередаваемого счастья единения с Богом в Его неизреченной Любви, которые она пережила в недолгие дни её детского «послушничества» в монастыре.

И теперь перед глазами её встал улыбающийся «Красивый Мальчик», явившийся ей в сонном видении перед замужеством, и она словно снова услышала Его слова:

— Хочешь стать монахиней во Имя Моё?

— Ей, хочу, Господи! — воскликнула тогда во сне Маша.

— Тогда помни заповедь монаха: «Дай кровь и прими Дух!» Принеси в жертву плоть и обретёшь святость души, не держись за земное — взойдёшь на Небо! Придёт время, и монашеский постриг тебя не минует!

— Слава, Тебе, Христе Боже, исполняешь ты обещание Своё, — возблагодарила инокиня Мария из глубины сердца «Красивого Мальчика», и со всей полнотой сердечного чувства произнесла:

— Ей, Богу содействующу, честный отче!

— Отрицаешься ли мира и сущих в мире по заповеди Господней?

— Ей, честный отче!

— Схранишь ли себя в девстве и целомудрии...

— Ей, Богу содействующу, честный отче!

— Сохранишь ли даже до смерти послушание...

— Ей, Богу содействующу...

— Пребудешь ли до смерти в нестяжании...

— Ей, Богу содействующу...

— Претерпиши ли всякую тесноту, и скорбь иноческого жития, Царствия ради Небесного?

— Ей, Богу содействующу, честный отче!

— Сестра наша, Антония, постригает власы главы своея, в знамение отрицания мира, и всех яже в мире, и во отвержение своея воли и всех плотских похотей, во имя Отца и Сына и Святаго Духа: рцем вси о ней, Господи помилуй!

То, троекратно пропетое сестрами в момент её пострижения «Господи, помилуй», прозвучало таким неизреченным, глубинным плачем о умирающем в это мгновенье мирском человеке, что только тот, кто хотя бы раз присутствовал при этом дивном священнодействии, способен хоть

отчасти представить себе, что испытывала в тот миг рождающаяся вновь монахиня Антония.

Это пение врезалось в её память навсегда.

— Что ты есть имя, сестро?

— Антония...

— Спасайся о Господе!

## ГЛАВА 22

Мать Селафиила обратила своё улыбающееся, с уже ничего не видящими в сумерках глазами лицо.

— Георгиюшко! Какое счастье быть монахом! — она протянула в сторону инока свою слегка подрагивающую руку, — подведи меня к крылечку, внучик, там, на лавочке, мы с тобой немножко посидим.

Счастливым возможностью послужить старице и вдвойне счастливым от её предложения «посидеть с ней на лавочке», что автоматически означало душеполезную для молодого монаха беседу, инок Георгий бережно подхватил старицу под локоток и аккуратно повёл её в сторону крылечка.

— Помнишь, Георгий, как однажды спросили авву Антония об утешениях, ниспосылаемых монахам от Господа, и он ответил, что «если бы миряне знали те благодатные утешения, которые Господь даёт подвизающимся в монашеских подвигах, то в миру не осталось бы ни одного человека — все ушли бы в монастыри! Но если бы знали и всю тяжесть брани духовной и искушений бесовских — в монастырь не пошёл бы никто, все бы спасались в миру»?

— Помню, матушка! — кивнул согласно инок. — Читал об этом, хотя по своей недолгой жизни в монастыре, не могу себе представить ни того, ни другого! До сих пор за три года послушничества и два в рясофоре ни искушений серьёзных, ни, тем более, благодатных утешений не имел!

— А как ты думаешь, почему? — спросила его старица.

— Не знаю! Наверное, по немощи духовной, а может, просто не полезно мне...

— Нет, внучик мой, это ошибка! — голос старицы звучал наполненностью, какой-то внутренней силой. — Есть лишь одна причина, почему мы не становимся святыми — наша теплохладность, отсутствие горячей ревности о стяжании Духа Божьего! А больше нет причин!

Вот ты учился в школе, наверное, и уроки физкультуры не пропускал?

— Нет, матушка, не пропускал! — ответил инок. — У меня по физкультуре всегда хорошие оценки были, особенно по бегу! Вот дал Господь ноги длинные, и я почти всегда первым кроссы прибегал!

— Вот, это хорошо! — продолжила старица, — А ну-ка вспомни, как второе дыхание на бегу приходит?

— Ну, как... — задумался инок, — бежишь со всех сил, начинаешь выдыхаться, сердце колотится, порой, думаешь: «всё, сейчас упаду!», — а потом вдруг, как что-то внутри тебя

переключается, бах! — толчок, и вдруг легче становится, и дыхание появляется, и сердце как-то ритмичнее начинает работать. Даже скорость прибавляется! Со мною так бывало! Не знаю, может, у других по-другому?

— Да, нет! — вздохнула мать Селафиила. — Не по-другому, у всех это одинаково, как и в духовной жизни! Заметь: второе дыхание приходит тогда, когда кончается первое, когда кажется, что сил уже нет, а ты усилием воли всё равно заставляешь себя бежать! А коль начинаешь себя жалеть, бежишь помедленнее, поспокойнее, второе дыхание не приходит...

— Я, кажется, понял, матушка! — воскликнул инок Георгий. — То есть получается, что когда в духовной жизни кончаются твои силы, а ты всё равно подвизаешься, приходит...

— Помощь Божья, Божественная благодать Святого Духа, которая и даёт тебе силы противиться искушениям и возрастать в духе! А порой, и благодатные утешения подаёт, да такие...

Второй раз «потрогать перегородку между земным и небесным миром» монахине Антонии довелось за два дня до смерти её любимой «аммы» и восприемницы в постриге, схимонахини Афанасии, прямо в её келье, где она «дохаживала» угасающую старицу. По всему было понятно, что время пребывания её в земном мире исчисляется уже днями, и дней этих осталось совсем немного.

В ту ночь мать Антония, напоив с ложечки старицу сладким травяным настоем, заменявшим в обители чай, устроила её бессильное тело между подушек и подушечек с максимальным удобством, проверила, свободно ли проходят по закреплённому в потолке колёсику-блочку спускающиеся с него прямо к рукам старицы длинные, «на пятьсот», чётки, которые схимница не переставала перебирать, даже впадая в полубессознательное состояние, и, освободив от нагара фитилёк неугасимой лампадки перед иконой Божьей матушки, наконец-то, позволила себе опуститься в жёсткое деревянное креслице и, взявши чётки, погрузиться в Иисусову молитву.

Молитва шла хорошо, ровно, лампадка освещала силуэты двух монахинь — лежащей и сидящей в молитве — мягким золотистым светом, ночная тишина лишь изредка прерывалась тихим уханьем сов, прижившихся в роще неподалёку от храма и по ночам летавших на добычу полёвок, своей обычной пищи.

Внезапно мать Антония увидела, что свет лампадки стал усиливаться, менять цвет с золотистого на ярко-белый, потом вообще на не обозначаемый земным словом, но необыкновенно красивый и такой яркий, от которого должно было бы просто слепить глаза, но не слепило...

Затем из этого света в пространство кельи выступило несколько человек: седой старик, с длинной волнистой бородой, в какой-то необычной, но явно монашеской одежде; невысокая яркая женщина в сверкающих, по-царски великолепных нарядах; темноволосая тоненькая девушка, даже, скорее, девочка, в тоненькой лёгкой тунике и пожилая, скромно по-восточному одетая женщина с необыкновенно красивыми чертами лица.

Пришельцы из Света окружили ложе с лежащей на нём схимонахиней, которая, словно наполненная исходящей от них силой, приподнялась и села на своём одре, сияя неизреченной радостью своего сразу помолодевшего лика.

— Ну вот, — обратился к схимнице старец-монах, — мы пришли навестить тебя и известить тебе волю Господа! Готовься! Послезавтра ты будешь с нами! Завтра прими Святые Дары и

молись!

— Столько людей там ждут тебя! — сказала, прикасаясь рукой к одру царски одетая гостья.

— Твой переход не будет долгим, мы сопроводим тебя от самого разлученья с телом, — добавила пожилая красивая женщина.

Девочка легко скользнула к одру схимницы и, прильнув к ней на мгновенье, поцеловала мать Афанасию в щёку!

— До скорой встречи!

— Теперь мы покидаем тебя, — сказал старый монах, — молись за всех, кого здесь оставляешь, и у них проси святых молитв, напомни всем им, что Божья любовь неисчерпаема и Его помощь всегда рядом, даже когда настанут сильные скорби, — он взглянул на застывшую в изумлении монахиню Антонию, — ты это тоже запомни хорошо!

Свет начал чуть бледнеть, пришедшие вернулись в его сияние, которое ещё долго оставалось в келье в виде мерцающих в темноте серебристо-золотистых искорок.

Долгое молчание, не выдержав, прервала мать Антония.

— Матушка! Ты знакома с ними? Кто это был? Ты можешь мне об этом сказать?

Всё ещё сидящая со светящимся счастливым лицом старица обратила к ней глаза.

— Доченька моя! То были мои небесные покровители, чьи имена я за земную жизнь сподобилась носить!

Девочка, меня поцеловавшая, это святая мученица Татиана, её именем я была наречена в Святом Крещении. Пожилая женщина — мать Господня Предтечи Иоанна святая праведная Елисавета, её имя мне нарекли в рясофорном постриге. Равноапостольная царица Елена взяла меня под своё покровительство, когда я сподобилась мантии. А при постриге в схиму, я получила покровителя в лице преподобного Афанасия Афонского, устами которого мне возвестили главную весть — мой путь земной закончится послезавтра!

Доченька моя! Как я рада! Видно, Господь не отверг мою немощь и, укрепляя меня постоянно в течение моей долгой жизни, вновь посылает мне последнее подкрепление и утешение в виде такого чудного посещения!

Доченька! Они ведь были в самом деле! Ведь и тебя Господь сподобил их увидеть! Слава Господу за всё!

Силы телесные снова стали оставлять схимницу, и она, поддерживаемая взволнованной келейницей, вновь опустилась на своё ложе.

Остаток ночи пролетел в молитвах незаметно.

Прибежав в храм минут за двадцать до начала общей полунощницы, мать Антония известила отца Иринарха о случившемся ночью. Тот перекрестился и вздохнул:

— Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя! Иди к «амме», читай ей правило ко Святому Причащению!

После литургии мать Афанасию келейно причастили Святых Христовых Таин. Она попросилась со всеми и каждому сказала что-то важное именно ему. Ночь она провела без сна в молитве. В пять утра схимонахиня Афанасия тихо вздохнула, и её чистая душа покинула бренную плоть.

А через неделю после её погребения приехавшие из Рязани особисты арестовали всех сестёр вместе с отцом Иринархом и увезли в рязанский «централ», страшную пересыльную тюрьму.

## ГЛАВА 23

— Матушка! — взмолился инок. — Ну, хоть чуть-чуть расскажи, как тебя Господь благодатью утешал! Вот читаешь в книгах свято-отеческих, в Житиях, в Патериках, какие Господь монахам чудесные явления посылал — оторопь берёт! Даже не верится, что так быть может! И помыслы, я понимаю, что они от бесов, приходят — неправда всё это в книжках! Если бы правда была, то почему сегодняшние монахи таких явлений не сподобляются?

Умом понимаю, что эти помыслы гнать надо, что не заслуживаем мы, немощные и ленивые, таких благодатных утешений, но как же хочется для укрепления веры хоть от живых свидетелей про сегодняшние действия Духа Божьего услышать — очень оно вдохновляет на труды!

— Вдохновляет, говоришь? — улыбнулась старица. — Ты, внучок мой Георгиюшко, не в чужих рассказах вдохновения ищи, хотя и они, конечно, наряду с чтением святых отцов свою щепочку в огонь ревности по Бозе подбрасывают!

Главный путь вдохновения и горения духовного есть личный подвиг каждого монаха, либо добровольный, по благословию духовного наставника на себя подъятый, либо в терпении безропотном с благодарением Богу за скорби, во спасение души и стяжание награды на Небесах, от Него посылаемых, совершающийся!

— Как это, я не понял, матушка?

— Это так, Георгиюшко, когда ты ко Господу обращаешься: «Господи, спаси!», Господь обращение твое принимает и, как Врач, ставит тебе «диагноз» — болезнь души такая-то! Какая — ты и сам свои грехи знаешь.

И вот, чтобы излечить тебя от твоей смертоносной болезни, подбирает Небесный Врач тебе лекарство — скорби душевные и утеснения плоти, с помощью которых твои греховные болезни-страсти в тебе могут быть побеждены.

А по форме эти скорби и утеснения могут быть разными. Либо ты сам своими подвигами душевными и телесными себе эти скорби и утеснения создаёшь — постом, многими молитвами, малоспанием, бдениями, борьбой с помыслами и прочими «веригами» добровольно на себя взятыми, под тяжестью которых болезнь греховная в тебе побеждается, и ты обретаешь спасение и жизнь вечную.

Либо, если твои старания слабы и нерадивы, леность и малодушие не дают понести добровольного подвига, равного твоим душевным недугам, тогда Врач Небесный посылает тебе «лекарство» в виде внешних скорбей: обид от ближних, гонений, притеснений, телесных недугов и прочих страданий.

Чтобы эти внешние скорби тебе во спасение обратились, а не усугубили твоё греховное состояние, принимать их надо с пониманием, что они и есть то драгоценное лекарство от

греховной болезни, которое тебе Врач Небесный по Своей Любви подаёт, когда ты Его о спасении просишь!

И уж принимай это лекарство с терпением, смирением и благодарением Богу, «так и исцелеешь»! Словом, либо сам в себе грех ломай, либо терпи, как Господь его в тебе ломать будет! Теперь понял?

— Понял, матушка! А в тебе Господь тоже грехи ломал? Тебе тоже скорби довелось терпеть?

— Грехи-то? Ломал...

— На тебе, сука религиозная, на тебе! — удары подкованного медными гвоздиками ялового сапога сыпались на лежащую на полу следственного каземата монахиню Антонию, ломая рёбра, выбивая зубы, разрывая кожу лица и вырывая клочьями седеющие волосы на разбитой и окровавленной голове. — Вот тебе, сука, твой Бог, вот тебе, монашеское отродье, твоя религия! Вот тебе ещё, и ещё, тварь...

Эх, не тридцатые годы — пришил бы тебя, суку, на месте!

Дело о «тайной религиозной террористической организации, возглавляемой называющим себя архимандритом Иринархом» тоже не отличалось оригинальностью. Сколько их таких было!

Только прав оказался следователь Хлыстько, уже не тридцатые были годы, когда он пристреливал на допросе или забивал насмерть арестованных, ни мало не боясь для себя последствий, теперь приходилось учитывать наступившее в военно-послевоенные годы некоторое помягчение к церковникам.

— Ну, свой «четвертак»-то ты, сука монашеская, у меня по-любому получишь! — рычал он с псово-пролетарской ненавистью на еле живую, в очередной раз отлитую из беспамятства ведром ледяной воды, монахиню Антонию. — Подпиши признание в религиозном терроризме и отправляйся на нары, пока не сдохла у меня тут!

Ничего не подписала мать Антония. Ничего не подписала и ни одна из сестёр «тайной религиозной организации» архимандрита Иринарха. Ничего он и сам не подписал. Хотя над ним следователь Хлыстько с двумя вертухаями особо «поработал» — еле-еле отца архимандрита до суда успели в тюремной больничке откачать.

Влепили ему справедливые советские судьи двадцать лет лагерей строгого режима.

Только на первом же этапе отбитые «хлыстьками» лёгкие вновь сквозь изломанные рёбра кровью протекли, и умер батюшка на обледенелом от мочи и испражнений полу скотоперевозочного дощатого вагона, в сорокаградусную стужу, тихо творя молитву Иисусову.

Сестрам дали погуманнее: по «пятнашке», тоже строгого. Всё ж таки не просто «тайная религиозная», но и «террористическая»! Нельзя же «террористок» уж совсем-то баловать...

Из семи до лагерей живыми доехали пятеро. Из доехавших через полгода живы были трое.

А в пятьдесят шестом, когда по очередной амнистии освободили из лагеря мать Антонию, из «монашек-террористок», кроме неё, в живых никого больше и не осталось. Перебрались они «под крылышко» любимого батюшки в светлые мученические обители Небесного Царствия Божия.



Одна мать Антония в угольном карьере выжила. Другой о ней Божий Промысел был.

— Пришлось потерпеть маненько, внучик, пришлось...

Слава Богу, Георгиюшко, слава Ему за всё!

## ГЛАВА 24

Чему особо радовалась в лагере монахиня Антония, так это тому, что все дочери её по замужеству носили уже другие фамилии, и лагерная тень матери-«террористки» не должна была омрачить их спокойную жизнь в окружающем их советском обществе.

И когда мать Антония вышла за ворота с неохотой выплюнувшего её лагеря, она не позволила себе даже подумать о возможности не только поселиться, но даже навестить хоть кого-либо из дочерей, понимая, какие сложности может им создать общение с матерью — «религиозно-политической зэчкой».

Поэтому, воспользовавшись адресом, данным ей одной солагерницей, молодой монахиней из-под Сухуми, мать Антония, не раздумывая, но положась на Промысел Божий и Его святую волю, направила свои стопы в неизвестный ей доселе край.

Приехав по данному ей адресу, она обнаружила там домик на окраине высокогорного абхазского села Псху, в котором жили четыре монахини: абхазка мать Иоанна, гречанка мать Фотиния, белоруска мать Лия и, самая старшая и уже постриженная в схиму, русская мать Евдокия. Все они окормлялись у одного из монахов-отшельников, живших в то время в труднодоступных ущельях и распадках окружающих село Кавказских гор.

Немало их в то время подвизалось в труднодоступных горных местах Абхазии, многие из них были некогда насельниками Старого или Нового Афона, других известных и не очень российских монастырей; кто-то из них уже похлебал тюремной баланды или потаскал тачки на Беломорканале, а кто-то ушёл в пустыню молодым, от юности посвятив свою жизнь стяжанию евангельского совершенства.

Периодически кого-то из отшельников ловили власти, чаще всего в момент, когда им приходилось спускаться с гор к населённым пунктам, чтобы пополнить свои скудные запасы продовольствия, сажали их за «нарушение паспортного режима» или по какой-нибудь другой, грозящей более серьёзными последствиями, статье.

Иногда их убивали и грабили разбойники из местных жителей, иногда они и сами умирали в неизвестности от болезней или были задраны дикими зверями, волками или медведями, но некоторых Господь уберегал от несчастий долгие годы, и они, порой, достигали немислимых миру высот духа и становились наставниками и учителями спасения для сподобившихся их общения монашествующих и мирян.

Одним из таких стяжавших за долгие годы уединенного отшельничества благодатные дары Святого Духа и необходимый, в первую очередь для руководства духовной жизнью монашествующих, дар духовного рассуждения, был наставник общинки, в которую Своим неисповедимым промыслом привёл Господь мать Антонию, иеросхимонах Никон, ещё в конце девятнадцатого века начавший свой иноческий путь на Святой Горе, в каливе одного известного афонского старца.

Никогда не приходя в селение, отец Никон встречался с духовными чадами в маленькой избушке на берегу затерявшегося в горной глуши небольшого озера, в которой жили две

подвизавшиеся в молчаливости старые схимонахини с молодой, угрюмого вида, но добрейшего сердца, послушницей, все — духовные чада отца Никона.

Именно туда, в этот дивный уголок, сочетавший в себе красоту сотворённой Богом природы и красоту духовного подвига населявших его подвижниц, и привела схимонахиня Евдокия вместе со смуглой и отзывчивой матерью Фотинией приютившуюся у них в чуланчике, всё ещё «не отпущенную» до конца лагерем, мать Антонию для встречи со своим старцем и дальнейшего определения её будущности.

— Значит, и с Доримедонтушкой встречалась, — улыбнулся беззубым ртом отец Никон, — знали мы с ним одно время и по святогорскому житию, и здесь, в горах Кавказских! Сильный молитвенник был, сейчас таких больше нету, подвижник: почти не спал никогда, даже кровати в келье не имел — так, подремлет чуток сидя на стульчике и опять за молитву!

Мать Антония вздохнула с улыбкой, вспомнив про «ложе с «бадалхином» и кистями, пуховые перины и тьму подушков».

— Прозорлив был и силу слова имел удивительную, бывало, одну фразу человеку скажет, и у того вся жизнь переворачивается! Очень большая в нём любовь к людям была...

Ну, так ты сама-то, мать, чего желаешь? — спросил старец, пристально глядя в глаза матери Антонии. — Ты сама-то в себе как определилась?

— Желая, отче, исполнять обеты монашеские, с Богом жить, молиться, — не задумываясь, ответила монахиня Антония, — а где, как и с кем — хотелось бы волю Божью понять! Раньше я всегда жила у своих духовных отцов в послушании, мне бы и теперь желалось наставника обрести, чтобы своеволием не искушаться, слабая я духом ещё, отче...

— Слабая, говоришь, — улыбнулся, взглянув на неё, отец Никон, — это хорошо, что слабая: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи»...

Ну, ты поживи пока с мать Евдокией и её сестрами, оглядись, отмякни душой после «узилища», а месяца через два, как раз к Покрову, приходи сюда — тогда и поговорим о дальнейшем!

— Благословите, отче!

— Бог тебя благословит, чадо!

К Покрову ни мать Евдокия с сестрами, ни сама мать Антония уже и не мыслили жизни в отдельности друг от друга. Монахиня Антония вновь обрела семью.

## ГЛАВА 25

Войдя в свою маленькую, два на два метра келейку, мать Селафиила наощупь нашла спички, также наощупь зажгла недавно начатую свечку и от неё уже зажгла фитилёк простенькой «софринской» лампадки, стоящей на низкой полочке с иконами, висевшей в восточном углу келейки над удачно поместившейся под ней тумбочкой от пожертвованного в обитель, почти нового кухонного гарнитура.

Положив перед иконами три земных поклона, старая схимонахиня присела на край маленького диванчика, сделанного специально под размер её маленькой келейки из обрезков фанеры монастырским плотником отцом Моисеем.

Диванчик правильнее было бы назвать рундуком, потому что верхняя часть его откидывалась вверх, наподобие крышки сундука, и внутри его хранился весь нехитрый монашеский скарб, состоящий из драпового на вате зимнего пальто с цигейковым воротником, практически нового, так как зимой схимница предпочитала ходить в старенькой телогреечке, маленького узелочка с бельём и узелочка побольше — «на смерть» — с полным комплектом монашеского облачения для погребения.

Застлан он был грубо сработанным пёстрым домотканым ковриком, привезённым какой-то благочестивой паломницей из Болгарии. Маленькая, набитая сеном подушечка и тонкий вытершийся клетчатый плед довершали картину матушкиного диванчика. А, собственно, больше в келье схимницы ничего и не было, если не считать забытых с внутренней стороны в двери кельи гвоздей, на которых висели её рясочка, мантия, схима и верёвочный параман.

Сидя на краю диванчика, чуть склонившись вперёд и не давая себе облакачиваться на его жёсткую фанерную спинку, мать Селафиила сняла с шеи вытертые засаленные старые шерстяные чётки и, нежно погладив «голгофку» — кисточку с крестиком -заскорузлой скрюченной артрозом рукой, начала вычитывать по ним своё келейное схимническое правило.

Эти чётки достались ей от приснопамятной схимонахини Анатолии, одной из двух схимниц, живших в избушке у горного озера, куда она, тогда ещё монахиня Антония, приходила с сестрами из Псху на исповедь и за духовным советом к батюшке Никону.

Путь до озера занимал около четырёх часов, поэтому отправлявшиеся туда к духовнику сестры выходили из дома пораньше и не менее, чем вдвоём, поскольку места им доводилось проходить дикие, населённые хищным зверем, да, порой, и люди могли встретиться в тех местах не менее опасные, чем волки или медведь.

Вооружившись посохами и молитвой, шествовавшие к отцу Никону монахини проходили горными тропами, перебирались через ручьи, карабкались по камням и перелезали через бурелом.

Если им не приходилось менять маршрут, обходя новую каменную осыпь или неожиданный разлив ручья, то не позже полудня они оказывались в долгожданном прибежище, где их уже ожидал спустившийся с высокогорья из своей пещерной келейки отец Никон.

На общение с ним у сестёр приходилось не более трёх часов, так как возвращаться, хотя бы большую часть пути, было необходимо до наступления темноты из-за опасности активизирующихся в темноте хищников, да и просто риска заблудиться.

Поэтому общение всегда проходило сжато и интенсивно. Сперва батюшка, одев «епитрахиль», читал уставные молитвы перед исповедью, затем каждая из сестёр, оставшись с ним наедине в домике, исповедала ему свои помыслы и грехи, затем задавала волнующие её вопросы. Остальные ждали своей очереди на улице.

— Батюшка! — обратилась к нему в одну из встреч мать Антония. — Два дня назад со мной опять произошло во время молитвы необычное явление! Молясь, я вдруг обнаружила себя в совершенно незнакомой мне каменистой местности; я стояла на верху какой-то горы, невысокой по сравнению со здешними кавказскими горами, вокруг меня на расстоянии видимости были такие же, более похожие на холмы каменные горы, перемежающиеся небольшими долинками. С вершины, на которой я стояла, вниз вела достаточно крутая каменистая тропа, спускавшаяся далеко вниз к видневшемуся там, похожему на крепость монастырю. На самой вершине стоял небольшой, сложенный из камня христианский храм, не

похожий по виду на наши русские. Я зашла в него; иконостас и фрески на стенах, да и всё убранство были похожи на наше православное. Я помолилась там, приложилась к лежащей на аналое иконе Святой Троицы, затем вышла наружу и стала спускаться с горы к находящемуся внизу монастырю, думая увидеть кого-нибудь из людей и узнать, где я нахожусь. Уже спустившись, я увидела каких-то непривычно одетых людей, сидящих около костра рядом с натянутым, наподобие шатра, полотнищем и разговаривающих на незнакомом мне языке. Рядом с людьми лежало и стояло несколько верблюдов. Я решила подойти к ним, но как только я сделала несколько первых шагов, один из верблюдов вдруг резко повернулся ко мне, я испугалась и тут же вновь оказалась в своём чуланчике на Псху. Что это со мною было, отче? Как мне правильно к этому относиться?

— Место, которое ты описываешь, очень напоминает мне гору Моисея на Синае рядом с монастырём святой великомученицы Екатерины. Я там был в самом начале века с двумя афонскими братьями, когда нас благословили совершить паломничество в Святую Землю.

Мне трудно ответить тебе, что это было и как относиться к этому, чтобы не совершить духовной ошибки, исходя только из моего малого опыта и ещё меньших знаний. Здесь, недалеко от меня, несколько лет назад поселился один монах, достаточно молодой, отец Валентин.

Несмотря на свою молодость, он имеет благодатные дары от Господа: дар духовного рассуждения, прозорливость; по его молитвам я знаю несколько случаев исцелений.

Он ведёт очень уединённый образ жизни, но не отвергает нас, нескольких живущих неподалёку от его кельи отшельников, когда мы обращаемся к нему за духовным советом.

Я попробую переговорить с ним о твоём «путешествии», и если он скажет что-нибудь для тебя нужное, я передам тебе его слова в твой следующий приход. А пока руководствуйся советом Святых Отцов в таких случаях — «не отвергай и не принимай», отнесись как к «не бывшему» и молись Господу, чтобы Он Сам открыл тебе смысл и значение происходившего с тобою, «если Есть на то Его Святая Воля»! Понятно?

— Благословите, батюшка...

В следующий приход на озеро через две недели мать Антония обнаружила в домике сидящего рядом с отцом Никоном высокого худого монаха неопределённого возраста, но со значительной долей седины в его недлинной и негустой бороде. На его бледном утончённом лице ярко выделялись большие, блестящие, словно светящиеся каким-то внутренним светом, небесно-голубые глаза. Во всём его облике чувствовалась какая-то тихая и скромная доброжелательность.

— Мать Антония! — обратился к ней отец Никон. — Отец Валентин захотел сам с тобой поговорить; вот он, познакомься!

— Благословите, отец Валентин! — поклонилась высокому монаху мать Антония.

— Господь вас благословит! — поклонился он ей в ответ. — Я не священник, я простой монах!

Благословите, отче, — он обратился к отцу Никону, — мы с матушкой Антонией выйдем погулять по берегу озера!

— Бог благословит! — ответил отец Никон.

Монахиня Антония и отец Валентин вышли из домика и, не торопясь, пошли в сторону озера.

— Матушка Антония! — первым заговорил отец Валентин, когда они присели на брёвнышко, лежащее у самой кромки воды. — Расскажи-ка мне поподробней, что именно и как происходило с тобой в этот и в предшествующие разы!

Монахиня Антония начала рассказывать, стараясь припомнить все детали происходивших с нею необычных происшествий.

Отец Валентин внимательно слушал её, молясь по маленьким чёткам, набранным из потёршихся от употребления мелких деревянных бусинок. Временами он улыбался чему-то и качал головой. Когда она закончила свой рассказ, отец Валентин посмотрел ей прямо в глаза своими светящимися внутренней добротой и силой небесными глазами и, вздохнув, сказал:

— Матушка! В происходившем с тобою ничего «нехорошего» нет! Это не от лукавого. Как верно сказал тебе тогда отец Доримедонт, Царствия ему Небесного, это Господь, по Своему неисповедимому о тебе произволению, дал тебе не только ощутить, как тонка перегородка, разделяющая земной материальный и духовный миры, как они взаимопроникают друг в друга, но и дал тебе возможность духом твоим, не разделяя его окончательно от бренной телесной оболочки, на время оказываться вне зависимости от дебелисти земного бытия и находиться в других местах, куда влечёт тебя желание твоего сердца.

Вспомни, в первый раз, до того, как ты оказалась внезапно в Троицком Соборе Святой Троице-Сергиевой Лавры, ты думала об этом месте, желала его посетить?

— Да, отче! — всколыхнулась монахиня Антония. — И правда, я незадолго перед этим очень соскучилась душою по тому уголку, около раки батюшки преподобного Сергия, где мне всегда было очень хорошо молиться!

— Вот видишь! — улыбнулся монах. — А перед посещением Синая ты думала о чём-нибудь, связанном с этим местом?

— Нет, отче, — задумалась мать Антония, — я только читала в тот день Акафист святой великомученице Екатерине и молилась ей усиленно о исцелении Катеньки, внучки нашего соседа через дом, который по боголюбию своему, приносит нам, монашкам, молочка и сыра от своих коз!

— Возможно, если бы ты не испугалась верблюда, ты пришла бы и в монастырь святой великомученицы, и, Бог весть, может, сподобилась бы повидаться с ней самой, как дал тебе Господь увидеть небесных покровителей матушки Афанасии, упокой Господь её душу во Царствии Своем!

— А я-то, трусиха... — вздохнула монахиня Антония.

— Не переживай из-за этого! — вновь улыбнулся отец Валентин. — Если ты будешь и далее идти правильным духовным путём и не допустишь в себя помысла о том, что случившиеся с тобою чудесные явления свидетельствуют о каких-либо твоих «достижениях» в духовной работе, но будешь твёрдо держать в уме, что всё, происходящее с нами, не есть следствие наших «заслуг», а лишь чудные проявления Божественной к нам Любви и действия его спасительного Промысла, то Господь откроет тебе, для чего именно тебе даны такие откровения и такая необычная способность преодолевать границу земного мира. Более того, все ранее происходившие с тобою «путешествия» начинались не по твоему желанию или волевому решению, но впоследствии, опять же таки при условии правильного, смиренного и

послушливого отношения к исполняющейся на тебе воле Божьей, ты сможешь и по желанию своему духом посещать те места, куда повлечёт тебя твоё благоговейное стремление!

Главное, помни: всё сверхъестественное, происходящее с нами, не есть пустое развлечение или знак нашего «достоинства», нет! Это всё нам даётся как один из инструментов по совершенствованию своей души и, через то, служения миру, приобретаемой в процессе этого совершенствования способностью к Божественной Любви! Если подобные явления приумножают в тебе и через тебя в мире любовь, значит, ты правильно пользуешься данной тебе благодатью, если нет — умоляй Господа, чтобы Он отнял от тебя все Свои дары и сподобил бы спастись очистительным покаянием! Впрочем, без покаяния, то есть «перерождения» души, не может быть и никакой духовной жизни; ты это, матушка, и сама знаешь...

— Знаю, отче...

— А вообще-то, — отец Валентин улыбнулся. — Увидать Святой град Иерусалим! Или Удел Пречистой Божьей Матери Афон! Какое это счастье!

— Не как я хочу, а как Бог даст! — вспомнила одно из ранних наставлений духовного отца монахиня Антония.

— А Он и даст! Не сомневайся! Когда ты хочешь чего-то благого, спасительного и просишь этого, Он обязательно даст! — уверил её отец Валентин. — При условии твоей готовности, получив просимое, не впасть через это в пагубное самомнение и гордыню! Берегись этого, а благого проси — и дастся тебе!

— А вам, батюшка, простите дерзкую, доводилось вот так — духом посещать святые места? — подняла глаза на отца Валентина мать Антония.

— Мне-то? — он улыбнулся. — Мне не достоин о себе рассказывать, матушка!

Он опять улыбнулся:

— Какие чудные службы проходят у Гроба Господня...

— Помолитесь обо мне, многогрешной, отче!

## ГЛАВА 26

С отцом Валентином монахине Антонии довелось увидеться ещё лишь раз: на отпевании убиенных схимонахини Анатолии, схимонахини Серафимы и их послушницы Галины.

За день до обычной встречи в приозёрной келейке сестёр из Псху со своим духовником к отшельницам пришли два бандита, недавно освободившихся по амнистии из тюрьмы после долгой отсидки за грабежи и убийства. Наслышавшиеся басен о сокровищах, накопленных монашками в их уединённом жилище, они, не без подсказки местных христоненавистников, нашли тропу к спрятанному в ущельях горному озеру.

Старых схимонахинь застрелили сразу, а молодую красивую Галину много часов насиловали и пытали, стараясь выманить «тайник с деньгами и драгоценностями». Так ничего и не выведав, со злости зарубили Галину топором, нанеся ей множество рубленых ранений.

Бросив её обнажённое обезображенное тело на берегу озерца, бандиты в злобе ушли и,

потеряв тропу, заблудились. Проблуждав трое суток по непролазным горным чащобам, они были атакованы подраненными охотниками медведем. Один из разбойников был растерзан сразу, другой смог убежать, и, сойдя с ума от пережитого, ещё через неделю, окончательно потеряв вид человека, вышел к грузинскому селению. Там он был связан, отдан властям и увезён в Сухуми, где и окончил свою жизнь в психиатрической лечебнице, так и не придя в сознание.

На следующий день к избушке новых мучениц спустились отец Никон с отцом Валентином, неожиданно для отца Никона предложившим себя в спутники. Они пришли на место трагедии за два часа до подошедших снизу матери Евдокии, матери Антонии и матери Иоанны и приготовили тела убиенных монахинь, на удивление не тронутые за сутки никаким диким зверем, к честному погребению.

Вместе с сёстрами из Псху, составившими скромный хор, отцы-отшельники совершили чин монашеского отпевания убиенных сестёр и погребли их в неглубоких, из-за каменистости почвы, могилках на берегу озера, поставив над каждой могилкой простой деревянный крест с надписанием имени и даты смерти.

Помнянув убогой трапезой новопреставленных, отец Никон предложил сестрам из Псху взять себе на молитвенную память что-нибудь из вещей почивших. Матери Антонии достались чётки схимонахини Анатолии.

Когда настал момент прощания с отцами-отшельниками, мать Антония вдруг, неожиданно сама для себя, обратилась к отцу Никону:

— Батюшка! Благословите меня остаться здесь пожить! Прибраться в келии, за могилками присмотреть, да и вообще...

— Остаться здесь? — отец Никон даже несколько растерялся. — А вдруг убийцы вернуться?

Он посмотрел на отца Валентина, словно ища у него поддержки.

Тот был сильно бледен, совсем худ, нездоровый румянец полыхал на его щеках.

— Уже не вернуться, — задумчиво ответил отец Валентин, — пусть остаётся...

— Ну, что ж, — вздохнул отец Никон, широким крестом осеняя склонившуюся перед ним монахиню Антонию, — тогда, благослови тебя Господь и сохрани от всякого зла!

Так начался новый этап в жизни матери Антонии — отшельничество.

На девятый день отцы-отшельники спустились к горному озеру, приведя с собой ещё троих пустынников: древнего старца схимонаха Варнаву, совсем слепого, с его келейником иноком Леонидом и отца Гервасия, бывшего протоиерея, настоятеля большого храма в центральной России, после потери семьи в лагерях и на высылках пришедшего на Кавказ, постриженного в монашество отцом Никоном и двенадцатый год подвизающегося в уединенной келии на перевале.

Отец Валентин выглядел совсем истощённым, кожа, казалось, трескается на его заострившихся скулах. Только небесные глаза всё также светились кротостью и любовью.

Снизу из Псху подошли сестры, жившие с матерью Евдокией, в полном составе, и с ними ещё около десятка монашествующих обоих полов, многие годы проживающих и тайно несущих свой

молитвенный подвиг в этой, впоследствии прославленной их подвигом, горной деревне.

Отслужили заупокойную литургию, панихиду, скромно помянули усопших трапезой.

Мать Евдокия принесла монахине Антонии её вещи, немногие книги, иконы. Уходя, каждый из пришедших оставил матери Антонии что-нибудь из съестного.

Она осталась одна.

А в ночь пред сороковым днём, под утро, в тонком сне перед монахиней Антонией предстали три монахини, все молодые, красивые, сияющие счастьем, стоящие в белоснежных схимах на берегу озера, там, где высились три надмогильных креста. С ними стоял высокий молодой монах, тоже в белоснежной схиме, в котором с трудом скорее можно было угадать, чем узнать, отца Валентина.

Видение продолжалось недолго, от неожиданности увиденного мать Антония очнулась. Вокруг было тихо и темно, только со стороны озера, как ей показалось, ещё несколько минут тихо сиял мягкий свет.

— Батюшка, а где отец Валентин? — спросила мать Антония отца Никона на следующий день, когда на сорокадневное поминовение убиенных монахинь вновь собрались любившие их братья и сестры.

— Не знаю, мать Антония, — вздохнул отец Никон, — уже неделю нет в его уголке признаков жизни. Здесь не принято беспокоить без дела друг друга, и если какой-нибудь монах желает побыть в полном уединении, его никто не станет беспокоить.

Но сегодня по дороге сюда я заглянул к нему в пещерку, точнее, в маленькую щель в скале, которую он обустроил себе под жильё. Она оказалась заложена камнями, причём непонятно — снаружи или изнутри.

В любом случае, такова была его воля — уйти безвестно, и мы должны его решение уважать. Мы с отцами решили не открывать его пещерку.

— Батюшка! — сказала тогда мать Антония. — Я под утро в тонком сне видела трёх светлых схимниц на берегу, там, где матушки похоронены! С ними стоял отец Валентин, тоже светлый, молодой и счастливый!

— Ну, что ж, — вздохнул отец Никон, — они уже Дома, а нам ещё трудиться! Помогай нам, Господи!

— Аминь! — тихо подтвердила монахиня Антония.

## ГЛАВА 27

Те пять лет, что прожила мать Антония в маленьком домике на берегу горного озера, в «благословенной пустыньке», как она её всегда впоследствии называла, окончательно сформировали в ней монаха — человека, живущего «в мире немирно», то есть, несмотря на пребывание в земной телесной оболочке, уже, подобно Ангелам Божьим, весь смысл своего бытия имеющего в непрестанном предстоянии сердца пред Богом, в непрерывном с Ним молитвенном общении, в богомыслии и стяжании Божественной благодати Всесвятаго Духа.

Отвлекаемая от молитвенного делания лишь редкими встречами с духовным отцом и



приходящими к нему на исповедь и за советом сестрами, она жила в стороне от всего происходящего в миру, в государстве и обществе. До неё доносились через сестёр какие-то обрывки слухов, что генсек Хрущёв объявил новый этап борьбы с религией, что обещал показать по какому-то неизвестному ей «телевизору» последнего попа в 1980 году, что где-то в России опять закрывают церкви...

Но всё это было «где-то там», оно не задевало её, оно не разрушало её внутреннего состояния непрерываемого общения с Богом и потому не устаивалось с её стороны ни малейшего внимания.

К своему собственному удивлению, она вдруг обнаружила, что не имеет никакого материнского беспокойства о жизни своих дочерей, с которыми не виделась уже много лет. Постоянно молясь за них, держа их своей молитвой, как бы на непрерывной беспроводной связи, духом она чувствовала и знала, что с ними всё в порядке, что они не отпали от веры, что продолжают с той или иной степенью ревности вести церковную жизнь, что у них налажен быт, что они не забыли свою мать и поминают её в молитвах.

Чего же больше можно было желать отшельнику?

Зато в тот период мать Антония в первый раз посетила Святую Землю!

Случилось это в 1959 году, в ночь под праздник Входа Господня в Иерусалим.

Обычно во все праздники отец Никон приходил в домик на озере и причащал отшельницу приносимыми с собою Святыми Дарами Тела и Крови Христовых.

Готовясь к его приходу в этот раз, вычитав всенощную по чёткам и прочитав малое повечерие с канонем праздника и Последованием ко Святому Причащению, мать Антония позволила себе присесть в углу на топчане, и, прислонившись утомлённой спиной к оструганным брёвнам стены, закрыть глаза.

— Интересно, — пришла к ней вдруг мысль, — а как празднуют это день в самом Иерусалиме, куда входил Господь? Вот бы увидеть это...

Внезапно её ослепил яркий солнечный свет, она почувствовала сильный жар раскалённого южного солнца, на неё обрушился гомон разноязычной толпы и множество других, совсем не привычных её слуху звуков.

Открыв глаза, монахиня Антония обнаружила себя в гуще толпы на улице какого-то древнего южного города, толпа стремилась куда-то, по-праздничному гомоня, размахивая ветками, срезанными с пальм, держа в руках цветы, зажжённые свечи и святые иконы. Монахиню Антонию никто не замечал, она не чувствовала толчков или прикосновений, но в то же время явственно ощущала зной и слепящую яркость солнца.

Следуя вместе с толпой по кривым узким улочкам этого старинного восточного города, озираясь вокруг и наблюдая всю эту празднично-приподнятую обстановку, мать Антония вдруг начала догадываться, ещё боясь верить своей догадке, — она в Иерусалиме!

Ну, да! Конечно! Этот обнимающий её душу, насыщенный многовековыми чаяниями Мессии город не мог быть никаким другим, кроме Столицы всего мира — Города Распятия и Воскресения Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа!

Она вспомнила слова приснопамятного отца Валентина:

— При условии правильного, смиренного и послушливого отношения к исполняющейся на тебе воле Божьей, ты сможешь и по желанию своему духом посещать те места, куда повлечёт тебя твоё благоговейное стремление!

— А я ведь только что подумала о том, что мне хотелось бы увидеть празднование Входа Господня в Иерусалим в самом Святом Граде...

— Господи! — взмолилась она, остановившись и закрыв глаза. — Если это не от Тебя, прекрати это видение, я не хочу ничего того, чего Ты Сам не хочешь для меня! Но если это от Тебя, Милосердый Владыко, дай мне силы понести всё величие сотворённого Тобою ради меня, недостойной, чуда! Не попусти врагу лукавому всадить в моё сердце семена самомнения и гордыни! Господи! Се аз раба Твоя, твори мною волю Твою! Аминь!

Закончив молитву, монахиня Антония открыла глаза и увидела, что праздничная толпа молящихся продолжает следовать куда-то вперёд, увлекая её за собой. Отдавшись течению народа, удерживая сердце в непрестанном молитвенном стоянии перед Богом, мать Антония вновь пошла вперёд, веря, что Господь принял её молитву и с ней не случится ничего пагубного для её души.

Праздничная толпа вышла на небольшую площадь и устремилась ко входу в стоящий на противоположной стороне площади храм. Входя в него вместе со всеми, мать Антония обратила внимание, что мраморная колонна слева от массивной двери ведущей внутрь храма, расколота и опалена в месте раскола, как бы взорвавшись изнутри некоей огненной стихией.

Когда монахиня Антония вместе с другими богомольцами вошла внутрь огромного храмового пространства, оказалось, что богослужение уже началось и из глубины храма, слева от входа в него, раздавались тягучие греческие песнопения. Мать Антония заметила, что плотно стоящие массы богомольцев не препятствуют ни в малой степени её свободному передвижению по храму, она свободно проходила сквозь толпу, ни сколько никого не беспокоя: её, казалось, просто не замечали.

Воспользовавшись этой способностью, мать Антония проникла в самую глубину подкупольного пространства ротонды и оказалась перед небольшой церковкой-часовней из потемневшего мрамора с богато украшенным резьбой по мрамору и лампадами фасадом, внутри которой, очевидно, и происходило главное священнодействие. Сама часовня как бы служила храмовым алтарём.

Судя по совершаемым священством действиям, даже не понимая языка на котором совершалось богослужение, мать Антония догадалась, что она присутствует на Божественной Литургии. Действительно, вскоре после того, как она заняла удобное для молитвы место, с которого ей было видно всё происходящее у входа в часовню — «кувуклию» (откуда-то вдруг в её сознании всплыло это слово), начался «великий вход», возглавляемый седым смуглым греком в епископском облачении.

Мать Антония обнаружила, что, невзирая на не понимаемый ею язык богослужения, ей в то же время было очень легко молиться: молитвы и песнопения словно сливались в единый, возносившийся к Небу мощный поток, в который тоненьким ручейком вливалась и её исходящая из глубины сердца монашеская молитва. Молилось легко и благодатно.

Углубившись в молитву, монахиня Антония не успела заметить, как из двери кувуклии вышел тот же греческий епископ со Святою Чашею в руках, и все причащающиеся стали выстраиваться в очередь ко Святому Причащению.

Мать Антония тоже, сложив руки крестообразно на груди, встала в эту молчаливую цепь сосредоточенных богомольцев, готовящихся к самому страшному и великому событию в жизни христианина — теснейшему соединению со Христом, через причащение Его Пречистых Тела и Крови.

Вдруг в её сосредоточенном на предстоящем Таинстве сознании мелькнула мысль:

— А разве я брала благословение у отца духовного причащаться здесь? Ведь он же сейчас сам идёт ко мне в келью со Святыми Дарами, чтобы причастить меня!

В следующее мгновение монахиня Антония услышала скрип открывающейся в её домике на горном озере двери и радостный голос батюшки Никона, поющего тропарь праздника.

Она кинулась к духовнику:

— Батюшка! Где я сейчас была!

## ГЛАВА 28

Мать Селафиила выпрямилась, продолжая сидеть на краешке своего фанерного диванчика, глубоко вздохнула:

— Отче Никоне! Скольким я тебе обязана! Где же упокоились твои старые косточки?...

Действительно, ту школу внутренней созерцательной жизни, которую мать Антония проходила в избушке у горного озера под руководством опытного монаха-отшельника отца Никона, трудно переоценить, ибо вершина монашеского пути — отшельничество, и безопасное восхождение на эту вершину невозможно без хорошо знающего туда дорогу «проводника».

Господь даровал своей избраннице, избравшей «тесный путь» монашества и «узкие врата» послушания, именно те условия, в которых её жаждущая совершенства о Господе душа смогла раскрыться, как цветок в оранжерее, и, напитавшись пищею духовной изобильной, излить благоухание собранной ею полноты благодати на многих, ищущих во мраке мирских страстей свою тропинку к Богу.

Трудно описывать одинокий подвиг отшельника и затворника — на то он и отшельник, чтобы проводить жизнь, невидимую миру; трудно передать всё пережитое человеком, когда он, оставаясь в течение долгого времени наедине с самим собой, начинает видеть неприкрытые необходимостью «выглядеть» перед другими людьми глубины своей души, обнаруживать такие тайники с гнездящимися в них страстями, о существовании которых, живя среди людей, трудно было даже и подумать.

Потому-то люди, боящиеся заглянуть в себя и справедливо предполагающие возможность обнаружить там весьма неприглядную картину, при этом, не желая тратить силы и старание на наведение в себе «порядка», всё время стремятся к непрерывному, пусть даже явно пустому, общению, боясь остаться наедине с самим собой.

Желающий же чистоты душевной, стремящийся к указанному Спасителем идеалу совершенства, напротив, — ценит каждый миг, когда он может, не отвлекаясь на заботы мира, побыть в уединении сердечном, и, исследовав все закоулки своей души и сердца, повычищав из них всю нечисть покаянием, словно хозяйка, приготовив дом к приходу дорогого Гостя, смиренно пригласить в себя Христа.

А сколько приходится претерпевать отшельнику нападков дьявола, стремящегося не допустить рождения ещё одного духовного воина, сколько внезапных страхований, навязчивых помыслов, смятений чувств, разжений плоти, порой, и явных грубых нападений, видений, звуков, да не перечить всех пакостей, которые готовит враг идущему в затвор.

Всё это в полной мере пришлось перетерпеть монахине Антонии в том «райском» уголке на берегу укрытого грядями горными тихого озера.

Война — она и есть война!

Но с каждым следующим посещением своей духовной дочери, иеросхимонах Никон отмечал, как мужественнее становился лик отшельницы, яснее и бесстрашнее глаза, как Божья благодать явно почивает на подвижнице, делая сердце её чище и любвеобильнее.

— Наверное, пора тебе, мать Антония, принимать и «Великий ангельский образ» — святую схиму! — сказал однажды отец Никон отшельнице.

— Как благословите, батюшка! — спокойно отозвалась мать Антония. — Богу и вам виднее...

— Скажи матери Евдокии, чтоб вышили тебе схиму и сплели параман, — решил окончательно отец Никон, — месяца им на работу хватит, а там, как раз Успенским постом, и постригу!

Однако принять «Великий Ангельский образ» монахине Антонии довелось намного позже! К Успенскому посту в тех горных дебрях уже не было ни матери Антонии, ни отца Никона, не было там ни слепого схимонаха Варнавы с его келейником иноком Леонидом, ни отца Гервасия, ни других отшельников, подвизавшихся постом и молитвою в тех краях.

Длинная железная рука советской власти, словно адская расчёска, прочесала окрестные горы и выскребла оттуда тех, кто во все века доставлял больше всего неприятностей дьяволу, — подвижников молитвы.

В то лето, объявленная генсеком война с религией, добралась и до Кавказских гор. Милиция, ведомая нанятыми в качестве проводников местными охотниками, устраивала облавы на отшельников, хватала их, свозила в РУВД в Сухуми, бросала в камеры и «шила» стандартные дела о «тунеядстве и нарушении паспортного режима», по которым на год-другой сплавляла «религиозных фанатиков» в «места не столь отдалённые», а кого и просто упрятывала в психушку.

Бодрые отчёты о борьбе с «религиозным мракобесием» летели в Москву, возвращаясь оттуда в виде наград, премий и внеочередных звёздочек на милицейские погоны.

Однако мать Антонию Господь от новых поруганий сохранил.

Недели за две до начала Успенского Поста пришедший к матери Антонии отец Никон благословил её спуститься в Псху и оттуда съездить в Сухуми за лекарством для отца Варнавы, который в ту пору сильно захворал лёгкими.

— А заодно проверь, как вышивается твоя схима, — напомнил матери Антонии духовник, — уж скоро постриг, времени немного...

Мать Антония, благословившись, отправилась выполнять данное ей послушание. Спустившись в Псху, она переночевала у сестёр, совершила с ними монашеское молитвенное правило, а поутру отправилась в Сухуми за лекарством. Добравшись до города, она нашла аптеку, но

нужное лекарство делалось только на заказ и могло быть готово лишь к полудню следующего дня.

Приняв это как волю Божью, мать Антония заказала лекарство, а затем отправилась на службу в городской собор, где молилась за всеобщей, совершаемой несколькими священниками с диаконом и пением церковного хора, отчего она, давно живя в «пустыне», уже отвыкла.

Слегка взволнованная воспоминаниями, навеянными ей церковной службой, монахиня Антония провела ночь в укромном месте городского парка, молясь по чёткам и счастливо миновав милицейского патруля.

Утром она также молилась в храме за Божественной Литургией, причастилась Святых Христовых Таин, а затем, к назначенному времени, пришла в аптеку.

Затем, получив приготовленное лекарство, мать Антония отправилась в обратный путь и к вечеру добралась благодаря попуткам до Псху. Заночевав всё также у сестёр, она порану двинулась к своей избушке, где должен был её дожидаться либо келейник отца Варнавы Леонид, либо сам батюшка Никон. Имея к нему вопросы, с матерью Антонией отправилась к озеру и мать Фотиния.

Зрелище, которое монахини застали в некогда мирном уголке, повергло их в растерянность и скорбь — на месте старенькой намоленной избушки догорали угли, среди пепелища они увидели и выдернутые из могил, и, очевидно, брошенные в огонь кресты трёх убиенных монахинь. Повсюду на песке виднелись следы сапог, валялись окурки папирос и выброшенные из избушки распотрошённые, очевидно, в поисках денег, скудные мать Антонины пожитки.

Подняв разодранное надвое Евангелие и соорудив заново из веток временные кресты на могилках монахинь-мучениц, мать Антония с матерью Фотинией вернулись вниз, в село. В домушке матери Евдокии их ожидал растрёпанный и исцарапанный, взволнованный инок Леонид, который и поведал сестрам о случившемся:

— Я пошёл позавчера на озеро за лекарством для батюшки Варнавы, поскольку мы ожидали мать Антонию в тот день. Но, подходя к последнему спуску через каменную осыпь к озеру, я вдруг услышал лай собак и голоса людей и, подойдя поближе, увидел, как начал разгораться подожжённый дом.

Меня учуяли собаки, и за мною бросились в погоню милиционеры вместе с несколькими местными охотниками. Я бежал быстрее их, поэтому смог на время оторваться, и добрался до кельи отца Варнавы примерно за полчаса до того, как туда пришла милиция. По дороге я успел забежать на келью к отцу Гервасию и покричать в ущелье отцу Никону, предупреждая их об облаве.

Отец Варнава уходить отказался:

— Чадушка! Я стар и слаб, да, видно, и время моё пришло, зажился я тут...

А ты беги! Тебя благословляю бежать от антихристовых слуг, найдёшь себе местечко для молитвы, у Бога земли много! Поминай меня в молитвах, чадо, и помни всё, чему я тебя старался научить. Иди с Богом...

Я убежал. Но я не пошёл вниз, туда, где можно было по перевалу выйти к дороге на Псху или в другие места, я подумал, что там может быть засада, и поэтому стал карабкаться вверх, на гребень скалы, куда залезть можно, лишь хорошо зная уступы, и куда охотники никогда не

ходят. Спрятавшись там, за камнями, на недоступной для милиции высоте, я видел всё, что происходило в ущелье с братией.

Милиция схватила отца Варнаву, отца Гервасия, который тоже не стал предпринимать попыток к спасению, и монаха Феодосия, попытавшегося, было, уйти, но из-за хромой ноги не смогшего оторваться от погони. Собаки окружили его и держали до прихода милиции. А отец Никон пошёл от погони в сторону пропасти, разделяющей две горные гряды, левее нашего ущелья. Погоня шла за ним по пятам, не торопясь, поскольку охотники знали, что оттуда выхода нет, там только пропасть.

Мне сверху было хорошо видно, как отец Никон подошёл к краю пропасти, перекрестился и пошёл прямо по воздуху на другую сторону ущелья. Когда он был уже на двух третях пути, из кустов выскочили два охотника, опередившие остальную погоню. Увидев удалявшегося по воздуху батюшку, один из них сдёрнул с плеча ружьё, очевидно, намереваясь выстрелить в отца Никона, но другой, осознав происходящее перед их глазами чудо, выбил ружьё у него из рук и отшвырнул его подальше в кусты. После чего он, а за ним и опомнившийся товарищ, встали на колени на краю пропасти и, крестясь, проводили взглядами батюшку, вступившего на противоположный край обрыва и углубившегося в лес. Тут как раз подоспели и остальные преследователи.

Что дальше было, я не знаю, я спрятался ещё выше в камнях, и, выждав часа три после того, как смолкли все голоса, спустился к озеру, а затем пришёл к вам.

Сёстры молчали, сосредоточенно творя про себя молитву.

Мать Антония поняла, что в её жизни наступил очередной поворот.

## ГЛАВА 29

После погрома в пустыньке у озера мать Антония прожила с сестрами на Псху до середины октября, до праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Ей всё ещё не верилось, как и другим сестрам с матерью Евдокией, что они больше не увидят своего духовного наставника, батюшку Никона.

Несколько раз они поднимались к озеру, молились на могилках убиенных сестёр, один раз мать Антония даже переночевала в кустах рядом со сгоревшими останками кельи. Но вестей от отца Никона не было.

Понимая, что без духовного руководителя она будет «овцой без пастыря», и ей рано ещё «пускаться в свободное плавание» в духовной жизни, мать Антония начала усиленно молить Господа о ниспослании ей «пастыря доброго», способного «упасти её на пажитях небесных». Ответ пришёл неожиданным — ей вдруг стало сильно хотеться попасть в Троице-Сергиеву Лавру, душа её вдруг потянулась под древние намолённые множеством монахов лаврские своды.

Восприняв это как указание свыше, мать Антония попрощалась с сестрами и, вооружившись молитвой, отправилась в неизвестность, везя с собой в стареньком фибровом чемоданчике дар любви от сестёр из Псху — вышитую белым шёлком по чёрному сукну схиму и сплетённый из чёрного шёлкового шнура схимнический параман.

— Когда ты будешь носить их, поминай нас в своих молитвах! — сказала ей мать Евдокия, вручая на прощанье этот подарок и небольшую, но достаточную для проезда в Москву, сумму денег, накопленных сестрами от даяний благодетелей.

— И вы молитесь за меня, матери! — сотворила земной поклон монахиня Антония. — Вы у меня теперь здесь навсегда! — И она прикоснулась к груди против сердца.

Город Сергиев Посад, ставший «Загорском», изменился несильно, только главная улица стала называться проспектом Красной Армии, появились улицы Карла Маркса, Ленина, Крупской, Карла Либкнехта, Октябрьская, Краснофлотская, Пионерская, Рабочий тупик...

Но колокольня святой Лавры всё также возносила над городом свою пышную золочёную чашу, возрождённая в её стенах в 1946 году после четверть-векового перерыва монашеская жизнь вновь собрала под святые своды как старых, дореволюционного пострижения монахов, прибывших сюда прямо из лагерей бритыми и остриженными под машинку, так и молодых иноков, пришедших сюда уже после войны посвятить свою жизнь Богу.

Троице-Сергиева Лавра вновь стала духовным сердцем России. Вновь потянулись в неё со всей страны ищущие духовного утешения, помощи в скорбях, ответа на животрепещущие проблемы, ставимые жизнью.

Вместе со множеством других богомольцев, в конце октября 1961 года в Святые Врата Лавры вошла и скромно, по-сельски одетая, невысокая пожилая женщина, с глубокими, исполненными терпения и надежды, тёмно-синими глазами, с небольшим потёртым фибровым чемоданчиком в руках. То была монахиня Антония.

Мать Селафиила накинула чётки на шею, оперлась руками в края диванчика и, претерпевая боль в коленях, осторожно поднялась на ноги. В её келье, как и за окном, было темно, лишь одна начавшая помаргивать из-за нагара на фитиле лампадка едва освещала тесное пространство схимнического жилища.

Мать Селафиила подошла к полке с иконами, осторожно загасила фитиль лампы, затем очистила его еле слушающимися пальцами от нагара, вытерла руки об специально для этого лежащий на столике кусочек вафельного полотенца, вновь наощупь нашла на столике и зажгла начатую свечку и от неё фитиль лампы. Затем, загасив свечку, выровняла фитиль по высоте, чуть прибавив по сравнению с предыдущей силу горения, поставила горящую лампадку на место и вновь насухо вытерла руки от остатков лампадного масла.

Проделав всю эту непростую для старого и практически слепого человека операцию с лампадкой, мать Селафиила осторожно прилегла на свой фанерный диванчик и прикрыла ноги стареньким пледом. Обычно в это время она давала себе поспать около часа, чтобы, проснувшись в полночь, начать свой обычный ночной молитвенный труд.

Однако в этот раз ей никак не удавалось заснуть. Смежив усталые морщинистые веки, она, как бы сквозь них, вновь видела тот непростой этап своей многотрудной монашеской жизни, что начался у неё по приезде в Сергиев Посад в шестьдесят четвёртом году.

После первого посещения Троице-Сергиевой Лавры, молитвы за всюнощной в большом Успенском Соборе, поклонения мощам печальника земли Российской Преподобного Сергия, мать Антония не стала торопиться с поисками духовника.

Она нашла себе жильё — крохотную комнатку с отдельным входом в домике, принадлежавшем двум верующим старушкам, устроилась на работу уборщицей-поломойкой в какую-то затрапезную контору, связанную с лесозаготовками, начала посещать лаврские службы, молясь обычно в левом, дальнем от алтаря уголке.

Каждое воскресенье и во все церковные праздники она причащалась Святых Христовых Таин,

подходя перед этим на исповедь то к одному, то к другому иеромонаху, обычно выбирая из тех, кто постарше. На исповеди она много не говорила, кратко исповедовала грехи-помыслы, иногда что-нибудь спрашивала о молитве и духовной жизни. Присматривалась к батюшкам, прислушивалась к их служению, во время которого каждый священник, хочет он того или не хочет, предстаёт перед внимательным оком верующего в своём истинном, неприкрытом духовном состоянии, внимала их проповедям.

Так продолжалось около полугода.

Постепенно круг иеромонахов, которым она в будущем могла бы предать свою душу в святое послушание сужался, и, в конце концов, её выбор остановился на достаточно молодом иеромонахе Димитрии, который из своих пятидесяти трёх лет, двадцать шесть лет с небольшими перерывами провёл в застенках и на лесоповалах сталинского ГУЛАГа.

Отец Димитрий был тих, не примечателен ничем, невысок ростом, не ярок лицом, голос его был сипловат и негромок, проповеди кратки и евангельски просты. Однако чувствовалась в нём стоящая за всей его неприметной внешностью некая большая, скрываемая от мира, насыщенная внутренняя жизнь, глаза его были исполнены тихой печали и не по возрасту глубокой стариковской мудрости, его голос во время служения звучал без красивостей, искренно, чувствовалось, что он не «возглашает», а молится.

Подходя к нему каждый раз исповедоваться перед причастием, мать Антония чувствовала с его стороны не просто «профессиональное» внимание, но искреннее и нелицемерное участие и сопереживание, советы его бывали просты, но всегда действенны. И мать Антония решилась.

— Отче! — обратилась она к отцу Димитрию, подойдя в очередной раз к исповедальному аналою в расположенной над Святыми Вратами вокруг Иоанно-Предтеченского храма застеклённой исповедальне. — У меня к вам есть просьба! После исчезновения моего последнего духовного отца на Кавказе, я осталась духовной сиротой, «овцой без пастыря»! Не могли бы вы, отче, взять над моим достоинством духовное руководство, чтобы мне не пропасть в самости и не заблудиться в этой жизни?

— Знаешь, мать Антония, — ответил ей иеромонах, оглядев стоящую в очереди к его аналою цепочку ожидающих исповеди богомольцев, — это не на пять минут разговор! Ты посиди на лавочке, там, у западной стены, подожди, пока я освобожусь, а затем мы с тобой спокойно это обсудим! Хорошо?

— Благословите, отче!

Разговор с отцом Димитрием в тот день продолжался четыре с половиной часа. Выходя за ворота монастыря, мать Антония уже твёрдо знала: у неё вновь есть отец и наставник!

## ГЛАВА 30

Тяжкими для Церкви были те самые «шестидесятые», о которых некоторые со сладкой ностальгией вспоминают как об «оттепели».

Ох, не для верующих православных христиан была та самая «оттепель»!

Для них тогда наступила лютая мертвящая «зима»!

Ещё с конца пятидесятых начались новые жестокие гонения на Веру и Церковь Христову, и за несколько лет одержимые христоненавистничеством коммунистические варвары по указаниям



хрущёвской «команды» ринулись закрывать церкви и монастыри, шквалом кощунственной клеветы в печати осквернять сознание людей, заводить уголовные дела на священников и епископов. «Оттепель» в исполнении «ума, чести и совести нашей эпохи» — компартии и её верной «овчарки» МГБ — вылилась в закрытие половины действовавших после войны храмов и трёх четвертей монастырей.

— Батюшка! Что это за люди у ворот Лавры Бога матом ругают, кощунствуют, про священство похабные частушки под гармошку поют, молодых людей и детей силой от ворот прогоняют и даже бьют? А милиция их охраняет... — мать Антония вопрошала отца Димитрия в сильном волнении, — неужели же опять Святую Лавру закроют?

— Не закроют, старец Гавриил сказал, что в этот раз не закроют, — с болью в глазах и глубоким вздохом отвечал батюшка Димитрий. — Братия у старца спрашивала, он ответил: «Терпите! Крови попьют, но закрыть Матерь Божья не даст!». А за тех хулителей помолитесь, да откроются очи их и узрят Истину! Бедные люди, ведь многие из них думают, что делают хорошее дело! Как Апостол Павел, пока был Савлом, преследовал христиан...

Вот ему и помолитесь о несчастных богоборцах, да поможет им обратиться и покаяться!

— Благословите, отче!

Тяготы Церкви того периода не обошли стороной и саму мать Антонию. Уж казалось бы: кому какое дело до пожилой неприметной уборщицы-поломойки из какой-то занюханной конторки?

Ан — нет! Есть дело у бдительного ока милицейского...

Захаживал и к ней в комнатку желтушный въедливый участковый со слегка раскосыми глазами, выпытывал — отчего часто в Лавре бывает, с кем из священников знакома, с кем из верующих общается?

Слава Богу, документы у матери Антонии в порядке были, даже прописать её к себе верующие хозяйки не поленились!

Ну и на работе, хоть и приходила она мыть полы к концу рабочего дня, когда все немногочисленные сотрудники по домам расходятся, чтобы избежать ненужного общения с мирскими людьми, но и тут «подсуропил» ей дьявол: послал искусителя — сторожа деда Матвея, бывшего вертухая лагерного, своей НКВД-шной душой за версту учуявшего благодатный дух, от уборщицы исходящий.

Только она за тряпку с ведром — дед Матвей уж тут как тут, рядом крутится.

— Слышь-ка, Машка! Как там ты по пачпорту, Никитична! Небось, снова в монастырь свой к попам бегала, трудовой рубь их поповским утробам таскала? Тут вот, слышь-ка, что про них в газетке-то свежей пишут! — он разворачивал скомканную в кармане старого ВОХР-овского френча газету, цеплял на нос очки и голосом пропагандиста с трибуны начинал вещать. — Все попы живут нетрудовыми доходами, ограблением одуроченных ими трудовых тёмных масс...

И, взглянув поверх очков злыми калёными глазами на молчаливо тёршую пол мать Антонию, всегда добавлял:

— Эх! Не достреляли мы их всех тогда! Может, и тебя бы с ними...

Однако долго он читаемой матерью Антонией про себя молитвы не выдерживал, особенно если она

начинала читать «Отче наш», «Да воскреснет Бог» и «Живый в помощи Вышняго».

Как не пыжился дед Матвей, как не изгалялся, а выносило его с молитвы монашеской за дверь, где он и бегал по двору, понося попов и «баб поповских», до тех пор, пока мать Антония, закончив работу, не уходила домой.

— Мать Антония! Ты за этого деда Бога благодари! — укреплял её на исповеди отец Димитрий, — он тебе как драгоценное лекарство дан, как орудие стяжания незлобивости и всепрощения! Помолись за него Апостолу и Евангелисту Матфею, наверняка ведь крещённый он, судя по годам, может, и покается!

Неизвестно, покался ли дед Матвей, но после прочитанных за него нескольких Акафистов Архистратигу Божию Михаилу и молитвы к Апостолу и Евангелисту, как-то он вдруг пропал. На его место пришла толстая пожилая сторожиха, верующая, так что претерпевание матерью Антонией богохульств прекратилось, а про деда Матвея она спрашивать ни у кого не стала — не любопытная.

Денег с её уборщицкой зарплаты хватало еле-еле, хотя тратилась она на себя — почти ничего! Но и бабушкам-хозяйкам за квартиру заплатить надо, да и в церковь не с пустыми же руками идти! Вон как приходы да священников налогами придавили, душат и душат, до восьмидесяти процентов с зарплаты в налог забирают! Надо поддержать...

Она и поддерживала. Да разве только она! Сколько их, русских православных женщин — мирянок и монахинь, молодых и старых, горожанок и крестьянок, обеспеченных и бедных — своим трудом, рублём, копеечкой, буханкой хлеба, пакетом гречки, склянкой «постного» масла, банкой консервов, охапкой дров, вырывали из цепких когтистых лап нищеты и холода, да порой и самой смерти, своих пастырей — сосланных и безместных, гонимых и обесславленных, нередко умирающих от голода и болезней.

Сколько монастырских монахов было обшито и обстирано, сколько приходских батюшек со своими вечно больными попадьями и кучей ребятишек было подкормлено и обогрето помощью и заботой — кто сейчас сосчитает!

Было это, было! Объединяла тогда верующих людей общая беда — война, гонения, голод. Ценили и берегли они в те критические времена тех, кто при в любой момент могущей ворваться Вечности был нужнее всего — тех, кто мог Крещением родить в Жизнь Вечную, тех, кто мог через Таинство Покаяния освободить от рабства греху, тех, кто мог соединить теснейшим образом с Богом через причащение Святых Христовых Таин, тех, кто мог преподать последнее утешение и проводить достойно уходящую из земной жизни душу, — иереев и епископов Божьих.

Нынче-то оно уже не так...

А тогда мать Антония, чем могла, старалась поддержать притесняемых «строителями светлого будущего» пастырей Церкви Христовой. По благословию отца духовного иеромонаха Димитрия, она кому-то из братии что-то стирала, кому-то чинила, кому-то покупала вкладчину с другими прихожанками зимнюю обувь или бельё, лекарства или коробочку конфет на День Ангела.

Оно ведь — чем больше даёшь кому-либо, безвозвратно, от чистого сердца и щедрой души, тем больше и сам принимаешь невидимых, а порой и весьма осязаемых даров от сделавшегося должником твоей доброты Бога.

Молитвенная жизнь матери Антонии в тот период была напряжена, как никогда прежде. Днём — в миру, на работе, в очередях, в уличной суете — «оградительная» молитва Иисусов стала вторым дыханием монахини Антонии, её защитой и ограждением, опорой, крепостью и победоносным оружием против дьявольских искушений, приходящих через разные вещи мира сего.

Утром и вечером, когда доводилось ей молиться в Святой Лавре за богослужениями, её внутреннее делание, укрепляемое и умножаемое благодатью общей молитвы Церкви, приносило ей свой особый обильный духовный плод.

Ну а ночью, в те часы, когда всё замирает в забвении сна, и наступает тишина, та блаженная тишина, в глубине которой слышится каждое биение молящегося монашеского сердца и, в ответ, благодатное дыхание, пребывающего близ и внимающего этой молитве Бога, ночью мать Антония предавалась тому труду-подвигу-искусству, которое неспроста называют многие поколения святых подвижников молитвой созерцательной или «умным деланием».

Нам не стоит пытаться заглянуть на тот «этаж», где уже тогда обитала утончённая и возвышенная душа опытной молитвенницы и успешной ученицы многих своих мудрых наставников в великом этом и чудном делании ума, как не стоит, не будучи шерпом, дерзать подниматься на Эверест без кислородной маски — не выдержит мозг.

Но взглянуть снизу на такого же, как и ты, человека, разве что меньше любящего себя и больше — Бога, и увидеть, как крылья духовные несут его в высоте и сиянии Солнца Любви, тоже будет полезным для нас, проползающих ленносно жизненный путь в добровольных веригах страстей по тягучей болотине самости и жестокосердия.

И ведь не потому, что не можем, не становимся мы святыми, не стяжаем Божественную благодать, а с нею любовь и радость, и счастье!

Не хотим!

Нет причины другой, кроме лени и равнодушия, нежелания понудить себя по Евангельской заповеди Господа: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». А в славянском тексте это место звучит ещё более ёмко: «Царство Небесное нудится, и нуждницы восхищают е». «Нуждницы» — это «нуждающиеся», или — «понуждающие себя», «употребляющие усилие».

Понуждаем ли мы себя?

А, значит, — нуждаемся ли в Небесном Царствии?

Кто нуждается, тот и себя понуждает...

Мать Антония не просто «употребляла усилие», ей не надо было «понуждать себя» на общение с Богом — это общение в благодати и Любви Божьей было целью и смыслом её земного существования, её подвиг совершался не потому что «так надо», а потому что «не могу без этого»!

Каждый, кто хоть раз искренне из глубины сердца возопил:

— Господи, Ты где?! — непременно слышит тихий благодатный отзыв в своём сердце: «Я

здесь!».

А услышав, одни говорят себе: «Да! Это именно то, чего жаждет душа моя, я хочу именно этого и ещё больше, и ещё чаще, и всё время!» — и идут к Богу, не боясь «тернистого узкого пути».

Другие...

Другие говорят: «Да! Что-то было! И Это было, пожалуй, хорошим, но...

Но, в мире столько есть всего интересного и приятного, и, может быть, гораздо лучшего, чем То, что я ощутил сейчас...»

И, отвернувшись от Отозвавшегося Бога, идут искать интересное и приятное.

Мать Антония в тот период своей жизни в «Загорске», несмотря на свалившуюся на неё после тихого отшельнического жития в горах лавину мира со всеми его заботами и хлопотами, очень скоро поняла, что и вправду, как и говорили многие святые Отцы и её собственные наставники — истинная «пустыня», истинный затвор — только в сердце монаха, коли есть в нём та Церковь, которая «не в брёвнах, а в рёбрах» — есть монах! И не препятствие ему даже весь грохот падшего мира сего.

Ещё более укрепило её убеждение в этой истине то, что услышала она однажды от своего пастыря и наставника, отца Димитрия:

— Мы тут, мать Антония, говорили недавно с отцами, кто, как я, в лагерях побывал, и все на одном сошлись — тут, в святом монастыре, можно сказать в «теплице духовной», редко кто из нас достигает той силы молитвы, которую он же ранее в лагерях имел!

А один из отцов, года три назад освободившийся из мордовского лагеря, рассказал:

— Вышли мы за ворота лагеря, трое амнистированных, я — иеромонах, протоиерей один с Кубани и владыка старенький, архиепископ Иоаким, пошли в сторону железнодорожной станции. Вот, прошли метров четыреста, мы с отцом протоиереем владыку с боков под локотки поддерживаем — больно слаб он; вдруг владыка остановился, лицо закрыл руками и как заплачет! Мы с протоиереем впали в удивление!

— Владыко! — говорим, — что же вы плачете, радоваться надо! Мы же с вами из ада живыми вышли!

А он, успокоившись немного, вытер глаза и отвечает:

— Чада! Я в этом аду пробыл восемнадцать лет! И никогда до того, как я оказался в бараке, у меня не было такой сильной горячей сердечной молитвы, как там! И никогда я так явственно не ощущал молясь, что Христос, Милосердный и Любящий, стоит рядом со мной, защищая, укрепляя и утешая меня Своею Благодатью!

А теперь, когда вышли мы из этого страшного места, я почувствовал, как моя молитва охладела и ослабла, и я не ощущаю более стоящего рядом Христа! О том и плачу...

— Вот и я, мать Антония, вспоминая своё пребывание в ГУЛАГе, вижу, что христианская жизнь моя того времени много выше была, чем теперь, в тишине и благополучии. И молитва моя с того времени потускнела. Помолись за меня, сестра...

— Бог да укрепит вас, батюшка!

## ГЛАВА 31

Так и не заснув, мать Селафиила поднялась со своего фанерного диванчика, стряхивая с себя дрёму, положила несколько земных поклонов. За бревенчатой стеной, в комнате недавно постриженной монахини Надежды, старые настенные часы пробили двенадцать — наступила блаженная полночь, время, когда «небеса раскрываются и молитва летит прямо к престолу Всевышнего».

Старая схимонахиня любила это время, многолетний опыт ночной молитвы убедил её в том, что с полуночи до трёх — самое время молиться: дух бодр, ум ясен, молитва так и льётся из глубины сердца! После трёх, как она говорила, — «это уже не ночь, это утро! Утром Бога славить надо! А для покаянной молитвы ночь — самое время!»

Мать Селафиила встала перед иконами, сосредоточилась, медленно осенила себя крестным знаменем и неторопливым шепотком начала:

— Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас...

Полунощницу схимница читала по памяти. Когда стало слабнуть зрение в начале семидесятых годов, она выучила наизусть весь Часослов — Полунощницу, Часы, Малое повечерие, Изобразительные, Вечерню, и, хотя чаще всего заменяла вычитывание «книжных» правил молитвой умной, Иисусовой, но именно Полунощницу старалась вычитывать всегда, ради любимой ею семнадцатой кафисмы и, конечно же, — «Се жених» — песнопения, которое она всегда вполголоса пела, стоя на коленях и скрестив руки на груди.

Именно во время Полунощницы она в первый раз посетила Удел Пречистой Божьей Матери. Случилось это осенью 1977 года, после пострижения её в великую схиму с именем Селафиила — в честь одного из Архангелов Божиих.

Вскоре после того, как исполнилось ей восемьдесят лет, батюшка Димитрий спросил её:

— Мать Антония, помнится, ты говорила, что Кавказские сёстры вышили тебе схиму?

— Вышили, батюшка!

— И параман сплели?

— Сплели, батюшка!

— И далёко они у тебя, параман-то с кукулием?

— Нет, батюшка, недалёко!

— Ну, доставай их тогда, пыль вытряхни, завтра Пост Успенский начинается, а послезавтра я тебя в схиму и постригу! Я уже с отцом наместником договорился, он благословил ночью в Иоанно-Предтеченском храме, при закрытых дверях, тихонечко...

Восприемницей будет у тебя мать Агафодора, ты её знаешь, вы вместе в просфорне помогали.

— Как благословите, батюшка!

— Вот так и благословляю, готовься!

Как готовиться, когда вся твоя жизнь и есть приготовление? Когда каждый твой миг, каждый шаг, каждый вздох, каждый взгляд — с Богом, в Боге и через Бога! Когда ты уже и живешь не сама себе, для себя и по-своему, но и мыслью, и словом, и делами несёшь «послушание» — служишь Господу!

Когда ты уже несколько лет носишь как инструмент, как веригу, как пламенный меч благодатные дары прозорливости, исцелительной сильной молитвы, дар старческого рассуждения духовного! Как пришли они, за послушание, так и действуют в старой монахине, некогда рекшей:

«Господи! Се раба Твоя! Твори мною волю Твою!».

Он и творит!

Незаметно так стали у ней вдруг рождаться слова — не свои, но лишь устами её изреченные, да такие, что услышавший их чуял сразу, что слова эти не от старушки сутулой, но от Силы и Премудрости Вышнего Мира! А просивший молитвы у старицы и вдруг получавший просимое чудом, не мог не почувствовать в ней нечто, миру сему не причастное, Вечное! Так, потихоньку, она становилась смиренным носителем силы Божественной, силы неисчерпаемой Божьей Любви!

Вторая ночь Успенского Поста наступила, постриг в «великий Ангельский образ» совершился. Стала монахиня Антония схимонахиней Селафиилой.

Как и предполагал приснопамятный батюшка Никон, так и вышло: и Постом Успенским, и в схиме, вышитой сестрами мать Евдокии! Только двадцатью годами позже...

А ещё через десяток годов, в полночь после праздника Рождества Пресвятой Богородицы, став пред святыми иконами, среди которых самой древней и самой полюбившейся старице стала подаренная ей в день великого пострига матерью Агафадорой чудная по письму и в серебряной ризе — Иверская, начала, было, старица, как обычно, чести по памяти полунощницу и, дойдя до «среды» своей любимой семнадцатой кафисмы, вдруг подумала:

— А как сию службу творят во Святой Горе Афонской? Как, наверное, дивно там молиться с отцами-святогорцами!

Вдруг! Слышит старица, как мужской молодой звонкий голос негромко, умилительно продолжает читать с того места, на котором она сама только что остановилась.

От удивленья открыла она глаза, позабыв даже, что они и не видят уже почти ничего, и увидела чисто, как будто глаза у неё снова детски ясными стали, что стоит она в просторном храме, на два придела столпами с иконами разделённом, в полумраке, освещаемом лишь лампадами и свечой в руках молодого монаха, читающего на аналое Псалтирь.

Где-то далеко впереди чуть заметно поблёскивала позолота иконостасов.

По периметру храма, вдоль стен и между столпов, разделяющих храм на приделы, стоят большие кресла-стасидии, с резными навершьями и высокими подлокотниками, на которые можно опираться руками, стоя внутри самой стасидии, поднимая на петлях сиденье. В некоторых из этих стасидий виднелись тёмные рясы и клобуки монахов, стоящих или присевших на опущенные сиденья, со склонёнными в молитве головами и ритмично двигающимися в руках чётками.

Тонкий аромат то ли ладана, то ли какого-то другого нежного благоухания витал в пространстве храма.

Чтение кафисмы закончилось.

Прочитали «Верую», «Трисвятое» по «Отче наш».

Из алтаря тихо донёлся старческий слабый голос, возгласивший: «Яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава»...

И вот, после мгновенья полной тишины, как бы издалека, из глубин монашеских сердец, тихо полилось умильно-проникновенное:

«Се, Жених грядет в полунощи...

И блажен раб, его же обрящет бдяща...

Недостойн же паки, его же обрящет унывающа...

Блюди убо, душе моя...

Не сном отяготися...

Да не смерти предана будеши...

И Царствия вне затворишися...

Но воспрями, зовущи...

Свят, Свят, Свят еси Боже...

Богородицею помилуй нас...»

И такая внутренняя боль за своё достоинство, такая искренняя надежда на милосердие Божие, такая сила покаяния и сокрушения сердечного слышались в этом едином в многоголосии звучании, что старица замерла, вся отдавшись этому взлетающему ввысь потоку молитвы, влилась своим сердцем в этот проистекающий из других монашеских сердец поток, растворилась в нём и всем существом ощутила ту тихую блаженную радость, которую испытывала много лет назад девочка Машенька стоя на крылосе с сестрами святой обители Боженькиной Матушки!

Старица тихо опустилась на колени, и из её глаз потекли давно забытые детские счастливые слёзы.

## ГЛАВА 32

Сколько продолжалось это блаженное состояние, она не помнила, полунощница уже закончилась, пролетела на лёгких крылах молитвы Утреня, начали читать Часы.

Мать Селафиила очнулась оттого, что кто-то теребит её тихонько за плечо. Она подняла голову.

— Ты здесь чего делаешь? — встревоженно бормотал ей на ухо маленький старичок с одним глазом, в каком-то несуразно растрёпанном монашеском подряснике, безрукавке-полурясе,

выцветшей и заштопанной и в помятой выгоревшей войлочной камилавке, из-под которой во все стороны торчали жидкие перья седых волос. — Ты же баба, вам же сюда нельзя!

— Прости, отче! — поклонилась ему в ноги схимница. — Я молилась у себя в келии перед Иверской иконой...

— Ясно! — вздохнул тот. — Раз Всесвятая допустила... Но ты хоть благословения-то у Неё попроси здесь бывать! Нельзя вам, бабам, здесь без благословенья-то Матушки нашей — Игуменнии горы Афонской, хоть ты и монашка! Не положено!

— А разве я могу спросить благословенье у Самой Матушки Божьей? — поразилась старица. — Как это можно сделать?

— В другой раз скажу, в другой раз, — забормотал монашек-старичок, оглядываясь, — вон уже благочинный Кузьма идёт, щас опять меня из церкви вытурит! Иди, давай!

Он тихонько подтолкнул мать Селафиилу в плечо и с поклоном повернулся к подошедшему к нему монаху с седеющей кудрявой бородой.

— Что-то ты, отец Михей, опять сам с собой во время службы разговорился! — грозно зашептал старичку подошедший монах. — Братию от молитвы отвлекаешь!

— Прости дурака, отче, прости дурака! — закланялся старичок, бормоча под нос извинения.

— Ладно! Иди в свой угол молиться, после службы подойдёшь ко мне за епитимией, — тихо буркнул благочинный и пошёл к своей стасидии.

— Иди, иди! — тихонько махнул рукой наблюдавшей всё это старице отец Михей и с улыбкой подмигнул ей своим единственным глазом.

В следующее мгновенье мать Селафиила увидела перед собою Иверскую икону, затем и всю полку с иконами в своей келье, затем её взор погас, и обычная слепота вернулась к ней.

— Ну, что ж, — спокойно отреагировал отец Димитрий на взволнованный рассказ старой схимницы о молитве на Полунощнице с афонской братией, — раз этот отец Михей сказал, что в другой раз скажет, вот в другой раз и спроси!

— Подождите, батюшка, — пыталась уложить в сознание не укладывающиеся там события, — вы хотите сказать, что мне надо опять оказаться там и спросить отца Михея, как получить благословение Пречистой Богородицы посещать Афонскую Гору?

— Именно так и говорю, мать Селафиила! — согласно кивнул состарившийся, худой, как тень, духовник, — если Матерь Божия благословит, то тогда ты там, может быть, и наставников себе обретёшь, мне-то больше нечему тебя научить, в пору самому у тебя учиться...

— Батюшка! — растерялась схимница. — Да что же вы такое говорите?

— Слушай меня, мать, — серьёзно обратился к ней отец Димитрий, — жить мне осталось месяц или меньше! Смотрели меня врачи позавчера...

Сказали, что с моей саркомой я уже полгода должен в глинке лежать, но, милостью Божьей, до сего дня дожил. Однако всё, мать, время моё пришло! Остаток дней проведу в затворе, увидимся на моём погребении!



— Батюшка! — вздохнула мать Селафиила. — Что благословите делать мне?

— Вот о том и речь, — задумчиво сказал отец Димитрий, — я об этом уже давно думаю. Спрашивал даже о тебе у старца нашего, отца Гавриила: кому тебя передать, кто тебе как духовник может быть полезен?

— Что же он сказал? — спросила схимница.

— Он сказал, что нет здесь таких отцов, которые бы могли тебе потребную пищу духовную давать, — отвечал ей духовник, — потом он сказал, что Бог без окормления тебя не оставит, но окормляться ты будешь не в России... Вот я и думаю...

Кстати! Отец тот, Михей, почему он тебя там увидел и с тобой говорил, когда другие тебя не замечали?

— Не знаю, батюшка, — недоуменно отвечала мать Селафиила, — я об этом почему-то не подумала...

— А ты подумай, мать! — продолжал отец Димитрий. — Ведь увидеть твоё духовное тело мог лишь тот, кто сам обладает зрением мира духовного, кто достиг уже той чистоты духа и сердца, которой другие, не видевшие тебя, не имеют!

— Верно так, батюшка! — согласилась с ним старица.

— А раз так, значит, он не спроста про другой раз говорил! — подытожил духовник. — Значит, надо тебе вновь у Бога туда попроситься, и, если Его воля святая на то будет, то, я думаю, этот Михей на вопросы твои и ответит!

И ещё! Старец сказал, что когда я помру, пригласят тебя в новый мужской монастырь, восстанавливающийся из руин, чтоб ты там пожила, помолилась бы с братией, молодёжь поучила монашеской жизни! Он велел не отказываться ехать туда, на то воля есть Божья! Остальное Господь Сам управит!

Ну, прощай и прости, если что...

Видит Бог, я старался тебе быть отцом нелицемерным, как уж смог... Ты уж молись за меня!

— И вы, отче, простите, — поклонилась ему земно схимница, — молитесь обо мне у Господа, чтобы быть мне Ему верной послушницей!

Месяца отец Димитрий не прожил, силы его иссякли раньше. Уже через две с половиной недели схимница тихо стояла в углу большого трапезного храма Лавры и молилась за торжественным и суровым монашеским отпеванием своего духовного наставника.

А ещё через два месяца, увидав мать Селафиилу в толпе молящихся в Троицком Соборе Лавры, у мощей преподобного Сергия, недавно возведённый в сан архимандрита отец Евгений подошёл к схимнице и сказал:

— Матушка! Послезавтра уезжаю в Калужскую область, вчера дали мне указ на настоятельство в только что возвращённом Амвросиевском монастыре!

— Господи! Благослови батюшку Евгения на тяжкий подвиг игуменства! — вздохнула, перекрестившись, мать Селафиила. — Ты, отченька, молись тем подвижникам, мощи которых

во множестве в том монастыре под спудом почивают! Они, Божьи угоднички, тебе и помогут во всём!

— Спаси тебя Господь, матушка! — отец Евгений продолжил. — Я тебя хочу пригласить со мной поехать, там, как мне сказали, жить есть где на первое время, а мне уж очень совет твой и помощь там были бы нужны!

— Да что ты, отче! — всплеснула руками мать Селафиила. — Ну какая от меня, старухи немощной, помощь! Да потом, у тебя же ваш лаврский старец отец Гавриил духовником — будешь к нему за советом приезжать!

— Всё, матушка! — вздохнул отец Евгений. — Нет у меня больше духовника отца Гавриила, и ни у кого нет! На прошлой неделе был у него инсульт, разбил его паралич, и теперь он лежит еле живой, никого не узнаёт и говорить не может! Врачи говорят, что в его девяноста шесть лет шансов на восстановление сознания и речи уже нет.

Да это он сам после похорон отца Димитрия мне про тебя и сказал: возьми, мол, к себе Селафиилу, когда настоятелем станешь, ты её досмотришь, а она тебя! Я тогда и не понял, о каком настоятельстве он речь ведёт, а вчера, когда указ мне владыка вручил, сразу я все его слова и вспомнил, и понял!

Видно, есть воля Божья нам с тобою, матушка, ещё вместе потрудиться!

— Видно, есть, — согласилась, кивая, схимница, — мне ведь тоже покойный отец Димитрий такие же слова от отца Гавриила передавал... Так куда мне послезавтра с моим чемоданчиком-то подойти?

— Матушка! Я за тобой сам к твоему дому подъеду, часам к восьми утра! — обрадовано произнёс отец Евгений.

— Ну, как благословишь, отец настоятель! — склонив голову, подставила сухие ладошки под благословение схимница.

В её жизни начался новый этап.**ГЛАВА 33**

Мать Селафиила закончила читать Полунощницу и снова присела на свой диванчик. По установившейся у неё традиции, остальную часть службы она вычитывала по чёткам, молитвой Иисусовой.

Благословил её на такой порядок исполнения «суточного круга» её святогорский «геронда», монах Христофор.

Приехав в знаменитую древнюю обитель, только что открывшуюся в процессе объявленной властями «перестройки», мать Селафиила сразу же облюбовала себе маленькую угловую башенку, в которой перед этим в двух крохотных, сыроватых комнатёнках жил старый дворник Иван Иваныч, скончавшийся за месяц до возвращения обители в лоно Русской Православной Церкви. После его смерти первыми, кто вошёл в оставленное им убогое жилище, были только что приехавшие и осматривающие территорию монастыря отец Евгений и мать Селафиила.

Зайдя в каморку Ивана Ивановича, мать Селафиила остановилась посреди комнатки, словно прислушиваясь к чему-то, постояла пару минут с закрытыми глазами и склонённой головой,

затем, перекрестившись, сказала:

— Царствия Божия монаху Иоанну! Отец наместник, благослови мне эту келейку для житья у тебя здесь!

— Матушка! — удивился отец Евгений. — Да для тебя в игуменском корпусе целая квартира есть, со своим отдельным входом, с ванной, из трёх комнат! А здесь чулан хорошо устроить, лопаты хранить, шланги...

— Отче! — схимница подняла на него подслеповатые глаза. — Мне здесь будет лучше, намолёно тут!

— Как благословишь, матушка, тебе виднее, живи здесь!

Через полчаса чемоданчик матери Селафиилы уже был разобран, сундук, на котором спал Иван Иваныч, был застелен старым тулупчиком, найденным в прихожке. Иконы старицы заняли своё место на полке, и лампадка уже освещала лежащие рядом с иконами «постригальный» деревянный крест и огарок изогнутой «постригальной» свечи, найденные старицей в глубине шкафчика среди книг умершего дворника.

Отец Евгений, будучи человеком молитвенным, первым делом наладил в новооткрывшемся монастыре регулярные богослужения вместе с прибывшими с ним из Лавры обустраивать с нуля монашескую жизнь в разорённой древней обители иеромонахом Феодосием и иеродиаконом Филиппом. Братия сразу начала выслуживать в наиболее сохранившемся здании монастырской церкви полный суточный богослужебный круг, ежедневно совершая Божественную Литургию. Мать Селафиила этот почин одобряла, сама присутствовала на каждой службе, тихонько молясь в уголке.

— Ты, батюшка, правильно делаешь, — говаривала она отцу наместнику, — будет молитва — будет благодать Божья, будет благодать Божья — будут насельники, будут насельники — будет больше молитвы и больше благодати, а тогда Господь помощников и благодетелей даст, обитель и восстановится!

Сказал Господь: «Наипаче ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам», — а начнёшь наипаче стены да купола возводить, Царствие Божие может мимо пройти!

А в обители Царство Божие — есть владеющая всеми братьями друг ко другу взаимная любовь в благодати Духа Святаго! Нет любви между братией — нет монастыря, а только общежитие!

И ты, отец наместник, должен первый, как отец в семье, всем братьям эту любовь являть, именно по-отечески — когда в строгости, когда в снисхождении, а когда и в утешении! От тебя дух обители зависит, с тебя и спрос, тебе и награда от Господа!

— Ты, матушка, молись посильнее, чтоб Господь меня в игуменском служении укреплял и разума духовного давал! — просил всегда отец Евгений в ответ на наставления старицы.

— Я молюсь, как могу, отченька дорогой, я молюсь! — вздыхала схимница.

Молилась она в то время как никогда напряжённо: и в храме за богослужениями, и в келье денно-ночно, и на каждом шагу с каждым вздохом. Мать Селафиила чувствовала себя ответственной перед Богом, Который привёл её в эту обитель, Который дал ей этих «мальчиков», как называла она отцов-монахов и приходящих в обитель на послушание трудников. Их всех она старалась покрыть своею молитвой, своею любовью, поделиться с ними

своим многолетним монашеским опытом, предостеречь от опасностей подстерегающих их на «узком и тернистом» иноческом пути. Можно сказать, что она горела молитвой, и это горение ощутимо обогревало и освещало жизнь «её мальчиков».

Чувствуя свою недостаточность в вопросах жизни мужского монастыря, мать Селафиила дерзнула тогда в первый раз сознательно выйти за «перегородку», как назвал это приснопамятный батюшка Доримедонт.

Как-то ночью, молясь Пресвятой Богородице, она, вдруг почувствовав сердцем, что — вот, сейчас можно, проси! — она, опустившись на колени пред любимой Иверской иконой Владычицы, со смирением и трепетом обратилась к Препоблагословенной:

— Мати Божия Пречистая! Если есть на то воля Сына Твоего и Твоя, разреши мне недостойной посещать Святую Гору Твою, поучиться житию праведному у подвижников Святого Удела Твоего, принести от них толику духовной премудрости «мальчикам моим», коих Сын Твой, Владычице, мне недостойной доверил для помощи им!

Не меня ради, окаянной, но ради приходящих во обитель нашу и ищущих жизни богоугодной, молитвами угодника твоего Михея, Владычице, разреши мне питаться крохами со стола святогорского!

Не успела старая схимница закончить свою молитву, как почувствовала знакомый толчок в плечо.

— Ну, чего застряла? — раздался над ухом ворчливый голосок отца Михея. — Пошли, что ли, пошли быстренько!

Она открыла глаза и увидела себя стоящей на высокой горе из обветренного белого мрамора, в нескольких десятках шагов от вершины, которую венчал всё сильнее выделяющийся на фоне рассветного неба большой восьмиконечный Крест с копием и тростью. За большим камнем, вокруг которого оборачивалась возводящая на вершину тропа, виднелся уголок маленькой крыши какого-то небольшого каменного строения, судя по кресту на коньке, — храма.

Рядом с ней, улыбаясь и подёргивая её за рукав рясы, стоял на тропе маленький одноглазый монах-старичок, что прогонял её в прошлый раз из афонского храма. В этот раз он светился какой-то детской радостью и нетерпеливо повторял:

— Пошли, пошли, сейчас Сама Всесвятая придет!

Они вместе поднялись на маленькую площадку рядом с каким-то великим в своей простоте и убогости храмиком, подошли к его грубо сколоченной двери с прибитым к ней сучком вместо ручки.

Дверь открылась, и из храма к ним вышла Она — Та, Которую трепещут Херувимы.

Схимница и отец Михей пали перед Игуменьей горы Афонской на колени.

— Встаньте, мир вам, здравствуй, мать Селафиила, здравствуй, Михей! — в голосе Говорящей слышались теплота и умиротворение.

— Я привёл, её, Владычице, по благословию Твоему! — поклонился земно отец Михей, указав рукой на схимницу.

— Благодарю тебя, поспеши в свою обитель! — улыбнулась Приснодева. — А то опять отец Кузьма заругает!

— Благослови меня, Мати Божия! — вновь повергся старичок на колени.

— Благословение Сына Моего и Моё да пребудет с тобою!

На маленькой площадке перед входом в храм Преображения Господня, защищенной от сильных ветров с северной и с западной сторон невысокой стеной, около самой двери храма, в рассеивающемся предрассветном сумраке виднелись две женские фигуры.

Одна из них, высокая, статная с величественно-смиренной осанкой была покрыта с головы до ног мягким струящимся покрывалом вишнёво-коричневого оттенка.

Другая, маленькая, согбенная, опирающаяся на гладко обструганную палочку, была укутана расшитой белыми нитками схимой с высоким капюшоном кукулия.

— Матушка, Пречистая! — обратилась к Богоматери старая схимница. — Ты опять услышала меня, Ты опять не презрела просьбы моей! Я не знаю, как мне благодарить Тебя!

— Вспомни маленькую девочку Машеньку, у которой не ходили больные ножки, — с лаской в голосе ответила ей Пресвятая Дева, — с какой верой она тогда просила меня: «Матушка Боженькина! Помоги мне! Сделай меня монашечкой, я хочу стать, как тётушка крёстная. Я хочу жить в твоём красивом монастыре! Я хочу всегда видеть Тебя и быть с Тобой!».

— Помню, Матушка, — прослезилась старая монахиня.

— Видишь, Я исполнила все твои просьбы — ты монахиня, ты живёшь в Моём монастыре, и ты видишь Меня! — продолжала с любовью Пречистая. — Я всегда помогаю по данной Мне Сыном Моим благодати и власти тем, кто с искренним сердцем желает быть с Ним и со Мной!

Я тебя не оставляю и впредь, как и во всей твоей жизни Я стремилась тебя защитить и помочь! Уже скоро ты сможешь совсем отойти от земных трудов и забот, но тебе ещё нужно послужить в мире Сыну Моему, служа Его чадам, которых Он будет к тебе приводить. Поделись с ними тем, что сама получаешь от Него и Его Любви. Это твоё последнее земное послушание!

Скоро отец Христофор подойдёт, он уже поднимается сюда от Панагии. Подожди его здесь, в храме. Скажи ему, что Я благословила тебя посещать Мой Удел и общаться с Отцами, когда тебе это потребует, — ласковым глубоким голосом сказала Высокая Женщина. — Сейчас Я прощаюсь с тобой, Меня ждут в келье Иоанна Богослова, там нужна Моя помощь.

— Благодарю Тебя, Матушка! — совершила земной поклон согбенная схимница. — Благослови недостойную рабу Твою!

— Благодать Сына Моего и Моя да пребудет с тобою!

Спустя некоторое время, дощатая дверь в храм Преображения скрипнула, высокий грузный старый монах, тяжело дыша, вошёл внутрь маленького храма. В глубине ближайшей к алтарю по правой стене деревянной стасидии он увидел склонившийся почти над самым сиденьем схимнический кукуль.

— Здравствуй, мать Селафиила!

— Евлогите (благословите), отче Христофоре!

— О, Кириос! (Бог благословит.)

Внизу, узким пальцем, протянутым с севера на юго-восток, простирался заросший густым зелёным лесом Афон.

## ЭПИЛОГ

На скамеечке за алтарём скитского храма, напротив обложенной каменными плитками могилы с большим, покрытым лаком деревянным крестом, на котором было вырезано: «Схимонахиня Селафила 1897-2000» — сидели два священника.

— Представляете, отец Алексей, — говорил священник помоложе, в старом подряснике, утеплённой безрукавке и в русской остроконечной скуфье на начинающей сесть голове, — я ведь только после её смерти понял: я жил полтора года через стенку с Ангелом! Она могла выйти утром из келии и сказать мне: «Отец Максим! Я сегодня ночью была в болгарском монастыре Зографе на Святой Горе! Сначала я приложилась к чудотворной иконе Георгия Победоносца с остатком пальца маловерного епископа, потом подошла к иконостасу, там у них под стеклом в ящичке лежит множество мощей». (И она начинала перечислять мне, каких угодников Божьих там находятся мощи! Всё, как я потом увидел своими глазами.) «Затем я пошла в Ватопед, молилась перед иконой «Всецарица» об исцелении от рака трудника Семёна, и Мать Божья исцелила его, потом прошла в коридорчик, где находится икона Пречистой Матушки Божьей «Антифонитрия», через которую Она запретила женской ноге ступать на землю Афона, и у этой иконы благодарила Мать Божью за оказанную мне милость посещения Её Удела, затем, выйдя из собора, поднялась направо вверх по лестнице и вошла в маленькую церковку, специально сооружённую для иконы Богородицы «Парамифия» (у нас её называют «Отрада и Утешение»), через которую Пречистая Дева защитила ватопедских монахов от нападения пиратов. Затем приложилась в алтаре к ковчегу с поясом Матушки Царицы Небесной и ко главе святителя Иоанна Златоустого с нетленным ухом. А потом не удержалась и посетила монастырь святого Павла, и облобызала там дары волхвов. Ты представляешь, какая я счастливая! Ты обязательно должен съездить на Святую Гору и помолиться у тех святынь! Я всё скажу тебе, где там и что находится!».

Представляете, отец Алексей, услышать такое из уст «бабушки-монахини»! Но у меня ни малейшего сомнения не возникало в том, что она реально ночью была там духом! И, действительно, — трудник Семён чудесно исцелился от последней стадии рака, все святыни, о которых она мне рассказывала, я нашёл именно там, где она указала, причём некоторые из них были там, где о них не помнили и сами афонские монахи! Да и не перечать, сколько раз за те полтора года, что она прожила в нашей обители, я видел случаев проявления действующей в ней благодатной силы Божьей, — тут и множество примеров её прозорливости, исцелений по её молитвам, а бесноватые даже не могли подойти близко к домику, где она жила, я видел это сам! А уж сколько премудрых наставлений мы услышали от неё за время её жизни в нашей обители — их не перечать! И дай нам Бог усвоить и воспринять в своей монашеской жизни хоть часть той великой премудрости и монашеского опыта, которым она торопилась с нами поделиться!

Причём, помощь её нам, маломощным, простиралась вплоть до решения каких-то бытовых проблем. Бывает, придет к матушке братия, просит: «Матушка, помолись! На полкрыши железо кровельное кончилось, денег нет, благодетели оскудели, послезавтра по радио дожди обещают — не дай Бог, зальёт, может свод протечь!». Она им: «Ладно, помолюсь! И сами молитесь!». А поутру в ворота уже грузовик с железом въезжает, какой-то неизвестный

спонсор прислал! А сколько мирян к ней приходило! И каждому помогала — кому советом, кому молитвой, кому утешением, а кому и вымоленным чудом!

Лишь её собственные дочери о том, что их мать — благодатная старица, только после её смерти узнали...

— Да уж и повезло вам, отец настоятель! — вздохнул второй священник, погладив свою седую редеющую бороду. — В грех зависти вводите, однако!

— Я сам себе завидую, отец Алексей! — вздохнул настоятель скита. — Просто не верится, что я был этому чуду причастен, чуду её жизни!

Вы бы написали о ней, отче, вы же пишете книги о духовной жизни!

— О, это задача не из простых, — вздохнул отец Алексей, — хотя, Бог весть! Может быть, и попробую...

с. Новосергиево. Святая Гора Афон: русский Свято-Пантелеимонов монастырь,

русская келия Агиос Стефанос.

09.08.2010 год.